С. ВЕРБОВ

ПО ДНЕПРУ ЧЕРЕЗ ПОРОГИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



ПАРИЖ
1956

С. ВЕРБОВ

ПО ДНЕПРУ ЧЕРЕЗ ПОРОГИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ПАРИЖ
1956

Волны кипели и выли, свирепо на берег
[высокий
С моря бросаясь, и весь он был облит со-
[леною пеной;
Не было пристани там, ни залива, ни мел-
[кого места;
Вкруг берега подымались, торчали утесы и
[рифы.
В ужас пришел Одиссей, задрожали коле-
[ни и сердце.

Гомер. Одиссея.

I.

Был чудный майский день. Южное утреннее солнышко с любовной негой поливало своими лучами каждую былинку, каждую скотинку, малую и великую, без различия их оперения или количества ног, разжигая в каждом существе жажду жизни, радости и счастья.

Но не для меня трудилось солнышко в этот майский день. Я возвращался из гимназии "с свинцом в груди" и двумя аттестатами в руках.

Один из них свидетельствовал: имя рек выдержал испытание на зрелость с аттестацией хорошо и отлично. Другой назывался кондуит за последние три года пребывания в гимназии, и под рубрикой — 4-ая четверть 8-го класса—там стояло: подстрекатель; подстрекал учеников не отвечать урок по русскому языку, с добавлением — за поведение — 3 и 24 часа карцера.

Оба эти аттестата я должен был представить в университет для поступления на медицинский факультет.

В карцере я сидел впервые за все восемь лет моего пребывания в гимназии и эти 24 часа были бы, пожалуй, наилучшими из всех тех, которые я провел в ее стенах, если бы не одно непредвиденное обстоятельство.

Отсиживать мне пришлось три воскресенья по восемь часов в условиях, не оставлявших желать лучшего: интересная книга, меню из не менее пяти котлет с вкусным хлебом и фруктами (лепта товарищей пансионеров) и сладкий сон на парте в промежутках. Ореол героя разумелся сам собою.

Но вот, во время одного из сидений, совершенно непредвиденно в карцер вошел учитель математики, Адам Адамович Маньковский.

С этим именно учителем связывалось в моей памяти давнишнее воспоминание, наложившее неизгладимую печать на все мое отношение к гимназии. Вскоре после моего поступления, я возвращался домой по окончании занятий с группой гимназистов старших классов. Выпал первый снег и мы стали играть в снежки. Чья-то рука, вдруг, больно сжала мое ухо. Подымаю голову — передо мной учитель математики со страшным лицом. Он ведет меня одного (другие удрали) обратно в гимназию, вызывает инспектора. Инспектор читает мне грозную нотацию и, отпуская, заявляет, что подобным преступникам не место в гимназии. Навсегда осталось в моей памяти, как по дороге домой я горько плакал и беспрестанно повторял: "никогда больше не буду молиться за наставников".

И вот, через восемь лет я снова вижу это страшное лицо. Он подошел вплотную, долго всматривался в меня, пока я, вытянувшись, стоял перед ним, всматривался, силясь, повидимому, что-то

прочесть на моем лице, чего там не было написано — очевидно, выражение большого горя и глубокого раскаяния. Долго качал он головой и, уходя, сказал замогильным голосом:

— Не видать вам университета, как своих ушей.

Восемь лет классического переливания из пустого в порожнее научили меня, по меньшей мере, критическому отношению ко всяким пифиям, — будь то в Дельфах или Екатеринославе.

Взявшись поэтому за очередную котлету, я тут же забыл Маньковского и его прорицание.

Но по дороге из гимназии домой слова эти снова зазвучали у меня в ушах; черная ночь заползла мне в душу, а белый свет в это чудное майское утро стал не мил. Не из-за "волчьего билета", каковым несомненно являлся кондуит для поступления в университет. О, нет! Так далеко мои мысли не залетали... Занятия в университете начинались лишь в сентябре, а теперь был только май. До решения оставалось еще несколько долгих и таких многообещающих месяцев...

Но меня с нетерпением ждали дома и я не был уверен, сможет ли хороший аттестат уравновесить, или, по крайней мере, притупить впечатление от такого необыкновенного кондуита, а главное, не появится ли у отца тут же мысль, высказанная учителем математики, насчет университета. С тяжелым чувством переступил я порог своего дома.

Сначала все стали рассматривать мой аттестат и отец очень хвалил меня за успехи. Затем я незаметно подсунул ему кондуит. Он внимательно перечел его несколько раз и, пожав плечами, к моему удивлению и великой радости, спокойно сказал:

— Придется мне съездить повидать попечителя Округа, профессора Алексеенко.

Я знал, что это было старое знакомство.

И это было "ныне отпущаеши" для всего моего прошлого. Гимназия, которую я оставил с тем же чувством, с каким узник покидает тюремную камеру, мгновенно и на сей раз безвозвратно канула в Лету. Распались цепи, которыми с такой преступной методичностью гимназическая программа и муштра пытались сковать мысль и волю юношей.

Это было ни с чем несравнимое чувство свободы, обостренное и усиленное до крайности предвкушением предстоящих, из ряда вон выходящих переживаний. Их было немало и в гимназические годы, конечно, вне и помимо гимназии, а теперь — ни преград, ни границ не было возможностям.

II.

Мне было восемь лет, когда наша семья переселилась из центра города на окраину у самого Днепра. С этого момента и до самого поступления в университет берег Днепра и Днепр, как таковой, стали главным и насущнейшим элементом моей сознательной жизни. Семья, гимназия были как бы рутиной, необходимой, как пища, как сон. Настоящая жизнь, полное и гармоничное выявление физических и душевных сил, начиналась лишь в момент, когда все, что связано было с городом, исчезало из поля зрения, как и из памяти, и я весь без остатка погружался в новый мир.

Всего несколько десятков шагов отделяло нашу улицу от берега. Но стоило пройти это расстояние, как все менялось: воздух, почва, люди. Это было особое царство, другая планета, со своим

особым и своеобразным населением, порядками и жизнью, отличными не только от города, но и от всей прочей части берега Днепра.

Протяжением она была невелика. В полуверсте вниз от нашей пристани, Карпаты взгромоздили посереди реки большой остров, Богомолов, протянули подводную гряду больших и малых скал до берега, образовавших здесь пучину, прообраз маленьких порогов. Только небольшие лодки, и то лишь зная путь, могли, пройдя эту гряду, вернуться вспять. Поэтому настоящая речная и прибрежная жизнь Днепра начиналась выше на версту с лишним от пучины. Это пространство и было нашим царством.

Прямых путей здесь не было. До воды нужно было добираться узенькими переулочками, причудливо змеившимися между высокими, выше человеческого роста, стенами из громадных, в строгом порядке уложенных бревен всех разновидностей, всех цветов и запахов. Полукруглые поленья березы с блестящей белоснежной корой с темными прожилками, на которых утренняя роса долго задерживалась в виде чистых белорозовых слезинок, занимали в этом царстве особое положение. Каждое утро лесники, в большинстве нищие евреи, промеряли эти штабели, чтобы установить количество украденных за ночь бревен. Пахло здесь всегда смесью чернозема, смолы и сырого дерева. Запах сосны, острый и прелый, несся от громадных бревен, громоздившихся высокими стенами повсюду. Стены эти не позволяли проникать солнцу в эти переулки, и в самый знойный день здесь всегда было темно, прохладно и сыро, а после весеннего половодья долго еще непролазно грязно.

Кончался такой коридор, и глазам открывалось голубое небо, раскаленный докрасна диск солнца и, далеко-далеко уходящая вдаль, бескрайная речная гладь: Днепр в этом месте так широк, что противоположный берег почти не виден.

Еще несколько шагов и, вот наша маленькая пристань, небольшой мосток со штангой, куда приковывалась лодочная цепь и тут же, покачиваясь на легкой зыби, наша, небесно-голубая с красным бортом, красавица "Ундина", предмет наших каждодневных, неустанных забот от первого весеннего дня и до самого наступления зимы. Как только вскрывалась река, приведение в порядок нашей лодки, просмолка и окраска ее поглощали целиком наше внимание и время. Занятия и даже сон и еда отходили на второй план. Это совпадало обычно с 4-ой четвертью и мне было, конечно, не до гимназии. Неделями я отсутствовал "по болезни" и затем появлялся в классе к удивлению учителей и на радость товарищей не только без естественной бледности реконвалесцента, но даже скорее напоминая своим видом краснокожего индейца, чем бледнолицого европейца. И все это каким-то непостижимым образом сходило с рук. И не мне одному.

Нас было четверо разных мастей, имен и учебных заведений. Черный, как жук, реалист Федя; голубоглазый атлет семинарист Вася; державший экзамены экстерном при гимназии, длинный, как жердь, всегда лохматый Лева, и я. Был у нас еще один товарищ, скорее ментор, которого мы все любили и слушались — Яков Иваныч. Он был лет на пятнадцать старше нас, замечательный спортсмэн, охотник и исключительный силач. В детстве он потерял слух, и мы объяснялись с ним при по-

мощи особой азбуки на пальцах. Среди населения нашей планеты, наиболее характерную и активную часть которого составляли босяки, из них немало типов как будто скопированных с горьковских героев, он пользовался исключительным авторитетом. И если мы сносили наши головы в особенно рискованных приключениях на воде, а, главное, не потерпели при постоянных драках от наших сограждан по планете, то этим мы были обязаны ему, его авторитету, а особенно, его бицепсам.

Все мы росли и развивались на этой маленькой днепровской планете, столь отличной от совсем рядом лежавшего города, на глазах друг у друга с самого раннего детства. Все мы одинаково ненавидели город и вообще сушу и все, что с нею связано, и до самозабвения обожали воду. Днепр, такой могучий и казавшийся нам бескрайным, такой живой и открытый, был нашим наставником, нашим настоящим воспитателем.

Это он побудил и он же дал нашему воображению, нашей мысли то главное, что, как мы скоро поняли, старались схоронить от нас за семью печатями гимназическая программа и городская обыденщина, рутина, и чего так жаждала наша прозревшая душа: чувство единства и общности с природой, чувство полной свободы от всяческих искусственных пут и сознание своего человеческого достоинства. Мы хорошо понимали и часто перечитывали “Новую Элоизу” Руссо, как вполне созвучную нашему настроению, но зато нам совершенно чуждо было толстовское опрощение, отрицание науки, за которым скрывалось сознание взятого на себя подвига и чувство вины. Никакой вины мы за собой не знали, за грехи

Адама и Евы и их потомков ответственными себя не считали и хотели лишь одного: чувствовать себя такими же сильными и не всезнающими, о, нет (это уж пахло гимназией), а беспечными и мудрыми, как природа вокруг нас, совершеннейшую часть которой, по нашему убеждению, мы составляли.

Но мудрость эту мы черпали не только из общения с природой, но и из усиленнаго изучения различных "опасных" для гимназиста наук, хотя и значившихся в легальной программе для самообразования издания комиссии при Народном Университете в Москве.

Следуя указаниям этой программы, мы сообща из года в год изучали логику, философию, психологию, политическую экономию и литературу.

Попадались нам и другие книжонки, в упомянутной программе не значившиеся. Эти книги открывали нам задачи нашей эпохи, освещали вопросы современности.

Какова же была наша собственная философия в результате такой превеликой учености?

Наше миросозерцание, нужно правду сказать, не отличалось устойчивостью, постоянством — оно всегда находилось im werden. Менялось оно, например, существенным образом уже в зависимости от времени года, точнее говоря, в зависимости от места, где происходили наши чтения и последующие дискуссии.

Зимой мы собирались у Левы, жившего отдельно от семьи, в комнате, которую он снимал у лавочника на нашей же улице. Там же находился наш постоянный клуб с буфетом в кредит.

В такой сезон, заседая в убогой обстановке

мелкого лавочника, в атмосфере из смеси чайной колбасы и керосина, мы склонялись к интегральному материализму, а в вопросах социально-исторических к ортодоксальному марксизму, к ужасу жены лавочника, невольной слушательницы наших рассуждений, женщины исключительно симпатичной и с такой готовностью сервировавшей нам чай и бутерброды, но очень впечатлительной и нервной. Когда предметом наших прений оказывались вопросы религии или же тезисы классовой борьбы, она обычно затыкала уши, или же, если не было большого мороза, вовсе убегала на улицу и после этого весь день страдала, как она уверяла, "игренью".

Летом, к превеликой радости мадам Райхман, мы занимались у воды или на воде: на какой-либо отмели (косе, как ее называют на Днепре), поросшей кустами, или же на островке, или попросту на лодке в движении. Здесь взгляды наши становились более гибкими, теряли свою прямолинейность и допускали даже известный эклектизм.

Широкий, могучий Днепр, то кроткий, то грозный, а особенно, черная украинская ночь, с небом, как мечтал Чехов, в алмазах, восхищали и подавляли нас и как-то обидно было думать, что все это планетарное великолепие покоится всего только на законах физики и механики, известных даже учителям гимназии.

III.

Если зимою все будни наши посвящались главным образом наукам и на долю Днепра оставались лишь воскресные и праздничные дни, то летом служение Днепру, как некоему богу, совер-

шалось, без преувеличения можно сказать, денно и нощно, от начала и до конца каникул.

Неделями мы не казали глаз домой, находясь все время в “плавании” и добывая себе пропитание почти исключительно собственными средствами — главным образом охотой и рыбной ловлей.

Охота лежала на моей обязанности, так как я был единственным обладателем ружья — шомпольной одностволки тульского завода, стоившей пять рублей.

Пернатое царство вокруг Днепра было не больно богато и уточками приходилось лакомиться не часто. Жертвами моими чаще всего были кулики, а в особенно тугие дни мы не брезгали и чайками. На Днепре их называют мартынами и их там сравнительно немного. У них почти всегда в желудке лежит рыбка и нужно так препарировать мартына, чтобы не вскрыть желудка, иначе из-за ужасного рыбного запаха мясо становится несъедобным.

Мартыны имеют странную, хотя и весьма благородную привычку, густой тучей с криками кружиться минуту другую над местом, где пал их товарищ, и в этот момент охота труда не представляет. Мясо мартына, нанизанное на вертел в перемежку с кусочками куликового мяса, принимает аромат последнего и становится вполне съедобным.

И вот, после трехлетней верной службы, одностволка эта, не выдержав, очевидно, такой нагрузки, погибла при весьма трагических обстоятельствах. Об этом случае я хочу здесь рассказать, так как думаю, что он не без интереса для любителей оккультных происшествий.

Однажды, после очредной охоты, я с грустью

констатировал, что стержень, на который надевается пистон в моем ружье, скривился. Слесарь, которому я показал ружье, взялся беду поправить и на следующий же день я мог принять участие в охоте.

Яков Иваныч выразил желание ехать с нами; предстояла большая охота с собакой, но мы замешкались. День был на исходе и не было смысла ехать далеко.

Мы высадились на ближайшем островке и двинулись вдоль берега. Я впереди, так как за мной был первый выстрел.

Вскоре глазам открылась приятная картина: необычно большая стая куликов паслась в низине неподалеку, у воды. Подбираясь за кустами, я подошел поближе, лег на песчаный холмик, приладил, как следует, ружье, взвел курок и прицелился, как это я делал сотни, вернее тысячи раз. Но как только я сделал усилие, чтобы нажать собачку, странное, никогда доселе мною не испытанное, чувство какого-то оцепенения как бы сковало меня всего. Я изо всей силы, казалось мне, нажимал собачку, но курок не спускался и выстрела не было. В испарине и полный необъяснимого беспокойства, я тут же проверил действие курка. Он был в порядке. Я снова приладил ружье, прицелился и уже не нажал, а потеряв самообладание, дернул за собачку, но курок не сдвинулся с места и выстрела не было. Яков Иваныч, стоявший неподалеку, вскрикнул недовольно — стая поднялась и улетела.

Подавленный и обезкураженный, я поднялся и стал объяснять Якову Иванычу, что курок заело, что слесарь испортил мне ружье. Он взял ружье, быстрым движением испробовал курок, что-то

пробормотал нелестное (он говорил мало и невнятно), затем сунул мне его в руки и без дальних слов двинулся вперед. Все за ним, я позади всех, все еще сам не свой. Дорогой я то и дело проверял курок — он работал без осечки и это обстоятельство еще более увеличивало мое смущение.

Яков Иваныч убил утку на лету, но она упала далеко и ее унесло в пучину. Стало вечереть. Решили вынуть мосток из лодки и стрелять в цель. Я стрелял снова первый. Как только я вскинул ружье и прицелился, прежнее чувство оцепенения охватило меня с еще большей силой. Я перестал чувствовать палец, касавшийся собачки, и потерял способность им владеть. В то же время левая рука, охватывающая ствол на месте, где расположена пластинка, скрепляющая ствол с прикладом, — центр равновесия ружья, движимая непреодолимой силой, перемещалась вперед, так что ружье теряло свой правильный уклон.

Я стоял, как одурманенный, не в силах что-либо предпринять.

Толчок в спину и крик: “стреляй же!” привели меня в себя и я, не целясь, зажмурившись, изо всей силы нажал собачку... Пришел я в себя, как мне казалось, разбуженный сильным колокольным звоном. Я лежал, растянувшись на песке, сжимая судорожно в руке небольшой кусок приклада — все, что осталось от ружья. Ствол расщепило, как от удара молотом, и перебросило, как мячик, через голову далеко назад. Пластинку, скрепляющую ствол с прикладом, мы так и не нашли. Обычно, как правило, при разрыве ружья, она уносит с собой четыре пальца, лежащие на ней. На мне же никаких повреждений. Значительный ожог

от пороха на лбу и веках, звон в ушах и небольшой туман в башке. Это было все.

Излишне уточнять, что стало бы со мною, если бы я выстрелил лежа: от головы моей осталось бы, пожалуй, много менее, чем от ружья.

Во всем этом происшествии самым странным для меня является тот факт, что при стрельбе в цель всякий раз, когда я делал усилие нажать собачку, моя левая рука отодвигалась от пластинки, на которой покоились четыре пальца. Когда я выстрелил, пальцы эти были, очевидно, не на пластинке, иначе от них не осталось бы следа.

Вот, при каких обстоятельствах покончило с собой мое многострадальное ружье. Как все это объяснить, не знаю.

В этот день силы, желавшие моей погибели, еще не полностью смирились. Вечером мы, против обыкновения, прогуливаясь, вышли к городу. У линии трамвая я, не совсем еще в себе, лишь чудом выскочил из-под вагона. Так закончился этот необыкновенный день.

Охота была для нас, так сказать, жизненной необходимостью; занимались мы ею не для удовольствия или спорта, и пока мы не купили новой одностволки, главным нашим средством пропитания, естественно, стало рыболовство.

Великим мастером рыбной ловли был у нас Вася. Только какой-то исключительной, никак на первый взгляд непонятной симпатией рыб к Васе лично, а, может быть, уважением к его будущему сану, можно объяснить их систематическое нежелание подвешиваться на чьи-либо другие, кроме Васиных, крючки.

Была, собственно, еще одна причина, которая, возможно, располагала так рыб к Васе. Вася был

вегетарианцем — пока, конечно, лишь в идее, так как по малолетству и несамостоятельности не мог распоряжаться своим режимом. В дискуссиях на лодке он громогласно утверждал, что жизнь животных, рыб должна быть так же неприкосновенна, как и людей. Несомненно рыбы это слышали и, возможно, что именно поэтому так его и отличали.

Но и с этими средствами пропитание наше не всегда было обеспечено. В такие дни мы довольствовались хлебом и картошкой, поджаренной на подсолнечном масле, запивая эту амброзию хлебным квасом. Бутылка кваса стоила три копейки.

Был ли день жирный, был ли он тощий, никогда и никому из нас и в голову не приходило, что дома его ждет обед из нескольких блюд. Не значило ли это, что по настоящему мы могли быть сыты, лишь глотая вместе с пищей днепровский воздух со всей сложной гаммой сопровождавших его ароматов и что служили мы нашему богу Днепру не за страх, а за совесть?

IV.

Страха на нашей планете мы вообще не знали. Днепр был нам чуден при тихой погоде, но еще более чуден и мил, когда, разбуженный внезапно налетевшим ветром, он начинал недовольно, а подчас и гневно потрясать седыми кудрями и они белыми барашками рассыпались по всей его необъятной, делавшейся вдруг изсиня-черной, поверхности. С удивительной быстротой покрывалось небо, неизвестно откуда нагрянувшими, тяжелыми свинцовыми тучами, клочьями спускавшимися почти до самой воды; зелень становилась ярко-ярко

зеленой и прятался, кто куда, пернатый народ. В такой всегда для нас желанный миг, кончался мирный труд, прекращалась учеба — мы становились воинами, которых к священной жертве призывает, скажем по старой памяти, хотя бы Посейдон, и мы к этой жертве всегда были готовы.

Ставился наш парус огромный, белоснежный, как некий стяг, на горе и вызов всем стихиям. Для нашей лодки он был, собственно, велик и потому при манипуляциях опасен, грозя при повороте опрокинуть лодку. Несясь рядом с нами в бурю, укоризненно качали головами, рассматривая парус, рыбаки. Но мы имели свой расчет: когда опрокидывалась лодка, то парус, расстилаясь далеко, давал нам время выскочить из лодки, а лодке не давал возможности сейчас же затонуть. И бывало, что нам удавалось даже плыть на удивление народу, восседая на лодке, опрокинутой вверх дном.

Большим и малым кораблекрушениям мы потеряли счет и, как это ни странно, в тихую погоду их было куда больше, чем во время бурь.

Особенно запечатлелась в моей памяти одна прогулка, которая подобно великому множеству других, закончилась вполне благополучно, хотя она была предпринята в условиях, не только не предвещавших ничего хорошего, но даже явно, уже с первого момента, угрожавших катастрофой.

Задержалось это происшествие в памяти, конечно, не из-за наших собственных при этом "страшных" переживаний, а лишь из-за вызванного им переполоха, который без преувеличения можно бы назвать буквально "планетарным", так как он всполошил не только родных и знакомых, но даже население нашей маленькой планеты.

С легким сердцем, несмотря на дурные предзнаменования, пустились мы и в этот раз, как обычно, в путь, крепко запомнивши раз и навсегда то, о чем так часто твердила нам гмназическая латынь, что fortes fortuna iuvat. Чем опаснее было дело, на которое мы шли, считали мы, тем более обязывало это всесильную фортуну споспешествовать нам в нашем начинании и привести нас в заключение живыми и невредимыми к родным берегам.

По настоянию родителей, в одно из воскресений, мы должны были выполнить пренеприятную для нас задачу — возглавить семейную прогулку-пикник в березовый лесок на левом берегу Днепра на расстоянии не менее верст восьми-девяти от нашей пристани.

Мы выехали на "Ундине" спозаранку вчетвером, чтобы найти в лесу удобное местечко, развести костер, сварить кашу и прочее. Пятым на нашей лодке был Федя Светлячок, как мы называли в отличие от нашего Федора Жучка, приятеля, тоже Федю, воспитанника училища садоводства. Светлый блондин с румянцем персикового цвета на щеках и добрыми синими глазами, он был у нас редким гостем, уже хотя бы потому, что наши каникулы совпадали с разгаром учебного года у садоводов.

Скромный, застенчивый, всегда опрятный в своей зеленой форме, он был единственным приемлемым и даже желанным гостем для нашего содружества, хотя предметом его обожания была земля, суша, как мы ее презрительно называли, а вода, наша стихия, его даже скорее пугала.

На прогулках-пикниках он был зато незаменимым товарищем. Никто из нас не мог так быстро разжечь костра, никто не мог состряпать кушанья,

как он, а — главное — он был нашим учителем природоведения (в гимназии о такой науке не было и речи), рассказывая нам удивительнейшие вещи о лесах, деревьях и цветах. Наш же Федя Жучок получил почетную командировку—ответственное поручение сопровождать на пикник женскую компанию в составе трех дам: сестер Васи, Левы и моей и девочки-подростка, дочери соседей.

Нужно сказать, что у наших дам Федя, в противоположность нам прочим, пользовался славой не только занимательного собеседника, но и услужливого “кавалера”.

Бывают же такие положения!

На большой лодке двое парней-рыбаков согласились переправить дамскую компанию в назначенное место и, порыбачивши, к заходу солнца вернуться за пассажирами.

Мы без труда на нашей Ундине нашли березовый лесок и, приставши к берегу, выкупались, развели костер, и, растянувшись на траве, с восхищением слушали рассказ Феди-Светлячка о прививках яблоне грушевой ветки, казавшихся нам чудом. Тут же на пальцах мы передавали содержание рассказа Феди Якову Иванычу, следившему за нашими объяснениями, по своему обыкновению, с улыбкой и интересом любознательного ребенка.

Скоро, довольные прогулкой и, особенно, обществом занимательного Феди, высадились на берег и наши дамы.

На улыбающемся Федином лице лишь мы могли прочесть, как тяжело дались ему эти несколько часов в роли “кавалера” и как сильно его душа истомилась по нашему содружеству, по нашим разговорам.

К счастью, дамы тут же отправились купаться

и мы могли урвать часок, чтобы побыть одни, обменяться мыслями и коллективно помолчать, любуясь прозрачной синей кисеей над головами и молодым березовым леском вокруг.

Вернулись дамы и началась обычная рутина пикника. Наша каша, так искусно приготовленная Федей и показавшаяся нам истинной амброзией, конечно, не понравилась привередливым девицам. Они навезли всякой своей, культурной, как они выражались, снеди и мы долго ели, долго пили чай с ароматным, как это утро в нашем березовом леску, свежесваренным вареньем.

Потом пели песни, играли в горелки, в прятки; снова ели, и день — без чтения, без сильных переживаний, попусту потраченный целый день, стал клониться к своему концу.

Нам вздумалось перед отъездом — дорога предстояла длинная — еще раз побыть вместе, и мы на лодке отъехали подальше от леска, чтобы выкупаться, полежать на солнышке и обменяться впечатлениями. Обратно мы неслись, что есть мочи, так как, судя по солнышку, рыбачья лодка уже должна была вернуться за пассажирами, а бедный Федя снова должен был идти на мученичество в роли "кавалера".

А солнышко в этот вечер, как нарочно, с необыкновенной торопливостью, казалось, собиралось на покой.

На берегу мы нашли все общество в полном сборе с нетерпеливым волнением высматривавшим парней-рыбаков. Время двигалось неумолимо и с удивительной быстротой, и взоры всех уже не с волнением, а с испугом следили то за зеркальной поверхностью Днепра, то за спускавшимся все

ниже блестящим диском, уносившим с собой последний луч надежды увидеть лодку.

Яков Иваныч, все время шагавший по берегу в молчании, вдруг прекратил хождение, подошел к нам и своим обычным глухим голосом, производившим всегда мрачное впечатление, решительно заявил: “скоро ночь. Они не приедут. Наша лодка не может поднять десять человек. Нам придется заночевать в лесу”.

Мы протестующе воздели руки к небу, а наши дамы загоготали, как испуганные гуси: “ни за что, ни за что!”, кричали они, перебивая друг друга, а подросток, имени которого я так и не запомнил, как зарезанный, заголосил. Доводы сестер, что мы не можем оставить родных в неизвестности всю ночь и, особенно, мать подростка, которая с неохотой и лишь после долгих уговоров согласилась отпустить с нами свою дочь, были для нас достаточно убедительными. Но и без этого аргумента мы не могли себе представить, как можно при трудных обстоятельствах капитулировать, даже не сделавши попытки преодолеть препятствие.

Яков Иваныч долго упорствовал и уже не говорил, а на все наши просьбы и уговоры мотал головой и отрицательно мычал.

Но сумерки стали видимо сгущаться; черная украинская ночь вот-вот готова была окутать непроницаемой завесой наш маленький лесок и, действительно, заказать пути домой.

Нужно было немедленно решать, ехать или оставаться. Вид наших пассажиров был так жалок и их отчаяние так неподдельно, что поколебало даже жестоковыйного Якова Иваныча. Неожиданно он перестал мычать, подумал и, направляясь к лодке, скомандовал: “попробуем; сади-

тесь в лодку!" Быстро, по его команде, все заняли свои места. Яков Иваныч на руле; наш Федя на носу — лицом вперед — сигнальщиком; Вася и я — на скамье у весел — по веслу в руке. Вторая пара весел была отставлена и на этой скамье уселись трое, а трое расположились на мостках у ног Якова Иваныча. Роль Феди была решающей. Рулевой ведь наш был глух, а путь на левой стороне Днепра усеян огромными камнями, редко выпирающими из воды, а чаще лишь слегка прикрытыми водой.

Сесть на такой камень с лодкой, нагруженной свыше меры, даже днем грозило катастрофой и в случае, если некоторое время останешься сидеть и если тут же опрокинешься. В этой части Днепра глубина исключительно большая, и особенно велика вблизи камней. Над таким скрытым камнем обычно кругообразно рябит вода и даже при волнении это движение воды бросается в глаза внимательному наблюдателю. По этому признаку и замечают камни. Кроме камней здесь водятся, несмотря на глубину, и мели, но на такой не отсидишься.

Как хребет огромной рыбы, острием выступают эти мели из воды, но песок там неплотный, зыбучий и так и уходит из-под ног.

Мы сотни раз проделывали этот путь, но всякий раз и днем нужно было рулевому глядеть здесь в оба, а сейчас нам предстояло идти ночью, когда не только темнота, но и обилие голов на лодке мешало рулевому видеть. Федя и должен был служить глазами рулевому и сигнализировать опасность поднятием руки: голоса его Яков Иваныч не мог услышать.

Отчалили благополучно и поплыли. Уже через

несколько минут положение определилось в точности.

Закон Архимеда клонился пока в нашу пользу, но погружение было максимальным: вода доходила до борта. При малейшем движении в любом направлении лодка зачерпывала бортом воду.

Скоро сидели на мокром месте не только расположившиеся на мостках, но и у скамеек подчас волна, вызванная движением весла, шаловливо переваливалась через борт.

Что делать — стало сразу понятно всем без объяснений: застыть на месте в позе, дававшей равновесие лодке и помолчать; произнесенное слово уже, казалось, увеличивало нагрузку лодки.

В особенно незавидном положении оказались мы, на веслах: грести надо было не откидываясь, осторожно, напрягая только мышцы рук, короткими рывками. А мы шли против течения; дорога предстояла многоверстная и о смене, конечно, не могло быть и речи.

Сначала Яков Иваныч держался берега. Но это означало, принимая во внимание наш черепаший ход, — непозволительное и к тому же весьма рискованное удлинение пути, и, после долгих колебаний, Яков Иваныч по собственной инициативе решительно повернул нашу Ундину на речной простор.

И вот, мы на безбрежной водной глади... одни... Ни берегов, ни дали... Нет даже уверенности, что движемся вперед.

Звезды далеко и им до нас нет дела, а луна еще не показалась. Ночь так черна, что кажется будто мрак сковал наше движение. Никто не говорит ни слова. Слышится лишь тихий вздох в момент, ко-

гда от чьего-нибудь невольного движения лодка зачерпывает воду. Мостки уже в воде.

Часы текут... и вдруг, толчок... Сильный крик Феди “гребите!”. Изо всей силы мы налегли на весла. Раздался треск — подобный не иначе, как зубовному скрежету сотни грешников в Дантовом аду... И так же, как и муки этих грешников, он показался нам бесконечным.

Опять толчок, еще — другой; легкий взлет волны окатывает нас, потом корму и снова мы продолжаем путь во мраке.

Все молчат. Яков Иваныч плаксивым голосом (таков тембр его голоса, когда он недоволен) тихо говорит: “ну, что ж это такое?! Куда же он смотрит?!”

Такой, глубоко сидящий камень, да еще ночью, увидеть невозможно, да он и не страшен для нормально нагруженной лодки, но как мы могли пройти его, не опрокинувшись, понять нельзя.

В молчании мы продолжаем не то двигаться не то стоять на месте. Неожиданно Федя Светлячок снимает свою новенькую с зеленым околышем фуражку, крестится и тихим, проникновенным гололом говорит: “Господи, если мы спасемся, я даю обет — пять лет я не сяду в лодку!”

“Ну и Федя”, вырывается у меня, “вот так подкачал!”. — “И не стыдно тебе?”, с презрительной укоризной замечает Вася — “одно слово — садовод!”

“И это все, — отзывается Лева, под сиденьем которого хлюпает вода, — и это все, что ты можешь Богу предложить? Не думаю, чтобы Бог польстился на твой “обед”, хотя ты и здорово кухаришь”.

Все молчат. Мы двигаем веслами без малейшей устали, как автоматы.

Взошла луна с лицом немножко перекошенным, как от зубной боли. Не стало сразу мрака. Глазам представилась — вода, вода везде, вода... Над нею серебристый и, как дымок, прозрачный, едва-едва вибрирующий лунный свет.

Ни складочки, ни одной морщинки на неподвижной поверхности воды и воздух так же недвижим. И мы на нашей, вровень с водой ползущей, скорлупе одни среди этого, как будто затаившего дыхание, безкрайнего простора.

— "Не случайна эта удивительная тишина", — элегическим голосом говорю я Васе: — "это наш верный друг-наставник старый Днепр, чтобы нам помочь, сковал стихии".

"Какое утро, вот рыбку бы половить", шепчет мне мечтательно Вася, — во власти своих таких банальных мыслей, очевидно, не расслышав моих слов.

Громкий крик прорезывает тишину. Это — плач подростка, возможно, вспомнившего свою мать.

Яков Иваныч не может слышать плача девочки, но случайно ему бросается в глаза ее лицо, и наш добрейший Яков Иваныч вдруг наклоняется к сидящему у его ног подростку и со свирепым выражением лица грозит: "будешь плакать — выбросим за борт!"

Снова тишина. Гребем долго, без устали гребем...

Федя объявляет: впереди две лодки. Лева с трудом на пальцах сообщает эту весть Якову Иванычу. Вздох облегчения вырывается у наших дам, до сего времени как бы застывших в своем молчании.

Лодки приближаются и Федя кричит: "Помогите нам! Наша лодка перегружена и мы не можем двигаться. Только не подходите близко, а то нас заливает".

Лодки поворачивают и некоторое время, держась на расстоянии рядом, их обитатели разглядывают нас. Это большие лодки рыбаков.

— Далеко ли до берега? — спрашивам мы. "До берега далеко", отвечают рыбаки.

— Послушайте, — говорят они нам, после недолгого раздумья: — до вашей лодки и дотронуться нельзя. Плавать вы умеете — бросайтесь в воду, мы вас перехватим. С такой нагрузкой неровен час, да что случится, не миновать беды!

— У нас ребенок, — отвечаем мы.

— Тогда идите к Богомолову — это не так далеко!

"Богомолов" — это остров, о котором я уже упоминал, нижняя оконечность которого еще и заканчивается протяженною косой. Как мы сами об этом не подумали?! Ведь, это на много сокращает путь, а на "Богомолове" мы, как у себя дома.

Лева передает Якову Иванычу совет рыбаков, и тут же наша Ундина меняет курс.

Лодки рыбаков ушли. Снова мы одни. Исчезли звезды, скрылась луна. Заалело на востоке. Попрежнему все молчат. Но тишина стала напряженной — все ждут и всматриваются в даль. "Земля!", торжественно провозглашает Федя. Очертания острова уже всем видны и робкая улыбка озаряет лица. Лишь мы, гребцы, не смеем обернуться и перед нами все та же гладь.

И вот толчок... От сильного последнего удара весел нос лодки зарывается в песок, корма же под весом Якова Иваныча целиком уходит в воду. Как

крысы с тонущего корабля, мы все бросаемся на берег из нашей полузатопленной Ундины. И в этот, казалось бы, радостный момент наши дамы, как только их ноги коснулись земли, не придумали ничего лучшего, как растянуться в обмороке на песке. И все одновременно, как будто сговорившись. Этот коллективный обморок до крайности смутил нас и мы стояли растерянные, не зная, что предпринять.

Первую помощь подал, как всегда на суше первый, — Федя Светлячок. Своею новою фуражкой он зачерпнул воду и стал, как цветы, кропить головы лежащих — единственную часть тела, еще остававшуюся у них сухой.

Скоро наши три сестры пришли в себя, уселись, осмотрелись и в один голос завопили: "домой, домой, домой!"

Терять нельзя было ни минуты — это мы и сами знали хорошо. Уже светало и что ожидало нас там, на берегу, страшно было и подумать.

Снаряжение новой экспедиции было делом нескольких минут. Вытащили на берег лодку, перевернули, спустили на воду — я на руле, наш Федя и Лева на веслах; сестры с подростком чинно, в порядке на местах, и мы отчалили, оставив на острове тяжеловеса Якова Иваныча, Васю и Федю Светлячка.

Это и был момент, когда на берегу стала разыгрываться подлинная драма.

Началась она, когда собравшиеся у реки наши родные, после нескольких часов томительного ожидания, увидели, наконец, лодку, идущую порожняком, лишь с двумя рыбаками.

До крайности взволнованные парни объяснили, что, прибывши с небольшим опозданием на место,

они не нашли нашей лодки, как было условлено, у леска на берегу (в это время мы принимали солнечные ванны). Не нашли они также наших следов втечение всего пути, хотя все время не только высматривали нас, но даже и подавали голос.

Весть о гибели десяти человек в миг облетела всю планету. Кому не спалось на нашей улице, все были на берегу. Орлы же, в предвкушении поживы, на лодках, в полном снаряжении, с баграми только ждали утра, чтобы отправиться на ловлю трупов.

Стало рассветать и отчаяние охватило всех родных. Мать подростка, очнувшись от "энного" по счету обморока и не видя дочери, уже пыталась идти топиться, но ее удержали.

В это время из-за острова на наш речной простор и выплыла Ундина... Появление ее вызвало вопли не то радости, не то возмущения такой силы, что мы услышали их на далеком расстоянии.

У берега из лодки еще в движении первым, как пуля из ружья, выскочил подросток и бросился в открытые объятия матери с отчаянным криком: "мамочка! они хотели меня выбросить за борт, утопить хотели!"

" Изверги, разбойники !" выкрикивала мать, грозя нам кулачком, и опрометью бросилась бежать со своим детенышем.

К счастью, эта сцена разрядила атмосферу. Вид наших дам, однако, с прилипшими к телу платьями и прическами в беспорядке к веселью особенно не располагал.

Их тут же увели и это на их долю выпала задача рассказать родным о нашем путешествии. Не солоно хлебавши, отправились досыпать орлы нашей планеты.

Мы, наконец, одни в своем кругу с радостным сознанием, что день, казавшийся нам попусту потраченным, так неожиданно закончился интересными переживаниями, не спеша, двинулись на остров за товарищами.

Но все это были лишь малые дела.

К концу лета разыгрывалась обычно на поверхности Днепра, однажды, а то и дважды в лето, грандиозная феерия потопа, при яростном участии всех враждебных человеку сил. Начиналось такое светопредставление без всякого предупреждения, внезапно и с такой молниеносной мобилизацией всех стихий, что застигало всех и все всегда врасплох. Ночь вмиг окутывала черным покрывалом нашу планету; раскрывались не символически, а по-настоящему, небесные хляби и извергали воду не струями, а целыми потоками. Ветры дули одновременно со всех стран света, сталкиваясь и беснуясь, и превращали воду в кипящий пенистый сироп. Раскаты грома при акустике юга и причудливые узоры беспрестанных молний, бороздивших небо и хлеставших волны, как бы писавших какие-то грозные слова — давали полную картину чего-то вроде наступавшего конца или прелюдии к концу мира.

Этого дня мы ждали с нетерпением все лето и всегда были к нему готовы. Не для того только, чтобы бросить вызов стихиям, а главным образом затем, чтобы оплатить наш долг буфету, к этому времени достаточно возросший.

В лодке всегда находился на этот случай у кормы хорошо отточенный топор и крепкая короткая веревка; один конец ее прикреплен был к борту, другой оканчивался основательной петлей.

Как только начиналось светопредставление, мы

забирались в будку смоляра, стоявшую у нашей пристани и, полуголые, вели наблюдение за рекой в ожидании сигнала. Как и во времена всемирного потопа, на волнах скоро появлялся большой ковчег, а то и два. Подпрыгивая на волнах, и кланяясь по сторонам, гонимые течением и бурей, они неслись... увы, не к Арарату, а к пучине... без возврата. Это были сорванные с причалов купальни и наш сигнал отчаливать. С трудом оттолкнувшись от берега, трое на веслах, я на руле — несемся мы наперерез, стараясь как можно дальше удалиться от пучины, и вот, уже на ловца и зверь бежит. Нам навстречу, то погружаясь, то всплывая, бегут огромнейшие бревна с, бурей потрепанных, плотов — предмет нашей охоты. Мы выбираем одно потолще и длиннее, проскальзываем вдоль него и, поравнявшись, я изо всей силы вонзаю в конец его топор, а на топор накидываю петлю. Теперь все дело в гребле. Нужно преодолеть инерцию бревна, влекущую его в пучину, повернуть его и дотянуть до берега. Три таких маршрута и наш долг буфету полностью оплачен.

V.

К концу потопа все население нашей планеты, обычно, у реки. Среди зевак из прибрежных улиц, взирающих с восторгом, смешанным со страхом, на все еще ревущий Днепр и разрушения вокруг, выступают орлы нашей планеты, присматриваясь и прицеливаясь.

Вот, главный из орлов, Алексей — воряга, горьковский Челкаш. Худой, костлявый, с маленьким лицом на длинной шее и рысьими глазами, слегка сгорбившись, босой он медленно шагает танцую-

щей походкой, расталкивая народ перед собой. Он единственный из босяков всегда с ножом.

За ним плетется, тяжело хромая после перелома в драке обеих ног, Алешка - заикала, адъютант. Лицо его — обезображенная маска, где светятся и живы только узенькие щелки глаз. Пьяный он лишается языка, а трезвым его никто не видел.

Тут же Василий Кокошинский, лохматый, бородатый Геркулес, чистый тип мужика-великоросса, в ситцевой косоворотке, подпоясанной ремнем. Единственный из населения планеты с ремеслом: он плотник и хороший. Всегда спокойный, тихий, но горький пьяница.

Поодаль, в стороне Мишка-кавалер, красавец, совсем мальчишка, обличьем и фигурой без преувеличения — Аполлон. Его обычное занятие — часами стоять на пригорке у берега, не шелохнувшись, как изваяние, и пристально смотреть на Днепр. За работой я его никогда не видел. У ног его, на скамеечке, всегда сидит, закутавшись в большую шаль, подарок Мишки, красавица еврейка Сарра, его любовница... Оба молчат, а ее черные глаза, не отрываясь, с обожанием прикованы к его фигуре. Она не пьет и при драке с удивительным безучастием ждет ее конца, чтобы увести окровавленного Мишку.

Неотлучно при этой паре на посылках находится веснушчатый мальчишка лет пятнадцати, Рита туй, безнадежно, как всем известно, влюбленный в Сарру. Он сидит на земле, ловит ее взгляд и облизывается. Когда же ему перепадает несколько глотков, он немедленно пьянеет, садится на дороге в пыль и, плача, тянет одну и ту же песню из трех слов: “Ой жиды, жиды, ривреи”.

За Алексеем, главным коноводом, по пятам

следует мелкая шпана в надежде урвать для себя кусочек. Все это пьяницы и воры. Многим, правда, на нашем берегу и после потопа мудрено разжиться. Это больше поленья, раскиданные бурей; лодки, сорванные с причала или оставленные, хотя бы на минуту, без призора; в немалой степени, конечно, карманы зазевавшихся прохожих.

Но не этим только граждане нашей планеты живы и пьяны.

Временами Алексей с подручными уходит в город. Возвращается он приодетым, в новом костюме, сапогах. После такой отлучки неделю, а то и больше, вся планета беспробудно пьет. Празднество, как правило, заканчивается грандиозной дракой. Пока рубашки на дерущихся целы, бьются деловито кулаками, но как только на ком-нибудь разорвана рубашка, битва на минуту затихает. Потерпевший оглядывает разорванное место и тихо говорит:

— "Ну, теперь на смерть".

В этот момент мы бежим в участок и просим послать городовых. Но городовые не спешат и, когда приходят, арена опустела.

Алексей, признанный главарь планеты, импонирует не силой. Он всех умнее и всех хитрее. Он мало говорит и никогда без толку. Водка бессильна сломить его. Он всегда настороже и в покое, как и в движении, похож на зверя, готового к прыжку. Он не без юмора на свой манер.

Увидя простака, случайно забредшего из города, он предлагает:

— Дай гривенник, я съем стакан.

Простак не верит и обычно отвечает:

— Врешь, не съешь.

— За врешь еще пятак штрафу. Всего, значит, пятнадцать, — безапелляционно заявляет Алексей.

Через минуту такому простаку пути отступления отрезаны густой толпою голытьбы, а в руках у Алексея появляется стакан из толстого стекла. Спокойно он обнажает маленькие прокуренные зубы, подносит ко рту стакан, откусывает кусок, как если бы он откусил кусочек сахара или хлеба, и медленно его разжевывает. У рта показывается кровью окрашенная пена. Деловито, как бы с аппетитом, проглотивши разжеванный кусок, он также откусывает новый.

Простаку уже давно не по себе; в карманах он то и дело чувствует чужую руку. Его мутит. Он дальше не может выносить и слезно молит:

— Ладно, заплачу, только перестань.

— Пятак, за перестань, — неумолимо изрекает Алексей. — Я голодный, — прибавляет он, — стакан этот мне на целый день, а ты смотри.

Простак платит и рад, что унес ноги.

Несколько раз я видел собственными глазами, как он за деньги ел стакан и глотал стекло и ему это не вредило.

Желая "сеять разумное", я как-то сказал Алексею:

— Хочешь я тебя наукам обучу?

Я не сказал грамоте, чтобы его не обидеть.

— Ты меня наукам? — И он удивленно вскинул на меня стальные, холодные глаза. — Ты молоко сначала с губ утри. Ты думаешь, я наук не знаю? Я все прошел, да они все ни к чему. А хочешь человеком быть, так иди ко мне в науку. Брось ты книжки. Это все без пользы. А со мной не пропадешь.

У Горького все босяки философы. На Днепре

они все больше практики. Философов я там не встречал. Впрочем, Василий Кокошинский, единственный из нашего планетного сброда, любил пофилософствовать.

— Ты, вот, прикинь, — говорил он мне, громадный, грузный, обеими руками сжимая свою лохматую, трещавшую после очередной выпивки при невозможности опохмелиться, голову. — Каково мне жить? Смотришь, все люди, как люди, а ты только половина человека.

— Да что вы, Василий, — возражал я ему, — при вашей силе, как же вы это только половина человека?

— Вот тут-то и оно, — продолжал он, — силой Бог меня, правда, не обидел. Но вот, призывает меня к себе пристав и говорит: "вот, говорит, Василий, подпиши бумагу, что ты никогда никого не ударишь кулаком. Ты, говорит, может даже не со зла, а так — в шутку друга цапнешь, а друга-то и поминай, как звали". — А я как же это, Ваше Высокоблагородие, я значит, как без рук, а меня, значит, бей, кто хочет? — "Нет, — говорит пристав, — ладошью можешь бить, это полиция тебе разрешает".

— Вам и правда достаточно ладонью, — утешаю я его.

— Да, конечно, — соглашается он, — а все же другим можно, а мне нельзя. Ну и жизнь!

Последнее уж, конечно, больше относилось к невозможности опохмелиться.

VI.

— Устами младенцев глаголет истина и примитивные орлы нашей планеты, сами того не ведая,

внесли однажды значительную лепту в дело защиты высоких идеалов.

Случилось эта так.

Созерцательная жизнь среди природы уносила нас далеко от злободневностей и жизненных противоречий. Но мы не могли все же уйти совсем от жизни, отмежеваться, например, от, так называемого, “женского вопроса”. Инициатором постановки и повторных обсуждений в нашем содружестве “женского вопроса”, который нас прочих мало интересовал, был Федя. Его рассуждения, насколько мне помнится, касались не столько социальной, сколько биологической стороны проблемы.

Право женщин на социальное равенство было, конечно, для нас бесспорным.

Все же Федя полагал, что биологические различия между полами при современном строе не могут не вести к антагонизму и войне, причем оружие, которым пользуются женщины, обеспечивает им обычно в этом состязании решительный перевес, что и символизирует собой несчастная судьба библейского Адама.

Для молодых людей при таких условиях, настаивал Федя, не остается ничего другого, как избегать контакта с “неприятелем” — держаться “подальше от греха”.

Для нашего содружества “женский вопрос”, хотя бы и в его биологическом аспекте, особых трудностей, правда, не представлял. Дурные примеры “ухажоров”-товарищей, а, главное, наша планета — берег Днепра — и наш круг чтения не оставляли нам фактически ни времени, ни места для общения с девушками, и Федино заключение “подальше от греха” было принято нами, как заповедь, святой закон морали и соблюдалось не-

изменно. Но Феде этого показалось мало. Наша улица, как я уже указывал, заканчивалась берегом, а другой конец ее граничил с большим сквером, за которым уже начинался настоящий город. Изолированная, таким образом, наша улица естественно была ближе к Днепру, к нашей планете, чем к городу, и это обстоятельство, по убеждению Феди, делало нас, единственных "культур-трегеров" в этом темном царстве, в известной степени ответственными, также и за ее моральное благополучие.

На нашей улице проживало несколько гимназисток, с которыми мы здоровались при встречах, к чему и сводилось все наше знакомство. Это были скромные девицы, прилежно зубрившие по вечерам уроки под зорким глазом матерей. Но в семье не без урода... Одна из этих девушек, Поля Занович, не привлекавшая к себе особого внимания, с некоторых пор стала беспокоить Федю. Долгое время мы не могли понять причины этого беспокойства. Но вот, однажды Федя поделился с нами своими опасениями. Оказывается, у Поли совершенно неожиданно, неизвестно каким образом, появился бюст размеров, каких вообще, по мнению Феди, в природе не бывает, и, значит, сфабрикованный ad hoc и, конечно, в целях аморальных. Прозорливость Феди нас просто поразила, когда мальчишки нашей улицы, которым мы поручили слежку за Полей, донесли, что Поля ежевечерно разгуливает по нашей улице в сопровождении гимназистов и реалистов.

Это сообщение поразило нас не менее, чем Федю. На экстренном совещании по этому вопросу Вася даже пророчески заметил, что если мы не примем тотчас же необходимых мер, то нашу улицу постигнет участь Содома и Гоморры. По пред-

ложению Феди, единогласно было решено: во-первых, вручить Поле письмо за нашими подписями с предложением немедленно уничтожить аморальный бюст, и, во-вторых, объявить блокаду нашей улицы для кавалеров. С просьбами о пропуске по уважительным причинам реалистам надлежало обращаться к Феде, гимназистам — ко мне; штатскими ведали Вася и Лева.

Блокада удалась без особого труда. Наш район вообще пользовался у горожан славой разбойничьего гнезда, куда было опасно показываться даже среди бела дня. Мы сами, после рассказов товарищам о жизни и нравах нашей планеты, считались как бы сродни этим разбойникам. Поэтому, уже намека, что за блокадой наблюдают орлы нашей планеты, было достаточно, чтобы правила блокады соблюдались в точности.

Однако, испорченность Поли зашла, очевидно, слишком далеко. Она не только не смирилась, не уменьшила бюста, но даже демонстративно продолжала свои встречи с кавалерами в ближайшем сквере, на территорию которого ни наши обязательства, ни возможности, конечно, не распространялись. Но мы все же прекрасно понимали, каким воспитательным уроком для Занович должно было служить то обстоятельство, что домой она должна была идти одна, и как угнетающе должна была действовать наша блокада на кавалеров.

Лишь дважды была сделана попытка "прорвать блокаду" гимназистами из силачей. К счастью, мы были во время предупреждены, и оба раза победа осталась за теми, кто дрался за идеал.

Но зло не умирает так легко. Мы не верили собственным глазам, когда однажды увидели Полю в сопровождении трех студентов-горняков (не-

задолго перед тем в Екатеринославе был открыт Горный Институт), демонстративно отбивавших ногами такт по мосткам нашей улицы, заменявшим тротуар...

Наши переживания при этом трудно передать словами. Угроза капитуляции, позорной капитуляции, перед пороком встала перед нами и, что обиднее всего, — капитуляция без борьбы! С гимназистами и реалистами это были как бы счеты между членами семьи и сор оставался, так сказать, "в избе". Война со студентами уже пахла чем-то вроде "международных осложнений", особенно, если не забывать, что полицейский участок помещался в конце нашей улицы у сквера...

Целых три дня мы терзались неизвестностью, ломая голову, что же предпринять? Из тупика нас вывела память и светлый Федин ум.

"Мы все помним, — заявил он, — поразившее нас утверждение Ницше, что самые великие мировые акты почти всегда достигались подкупом, обманом и даже убийствами, т. е., средствами нечистыми. Наш случай только подтверждает это правило. Обречь нашу улицу на гибель, — мы не можем. Наши силы для ее спасения недостаточны и я предлагаю обратиться за помощью к Мишке-кавалеру.

Красавца Мишку мы нашли на его обычном месте — на пригорке у берега, по обыкновению безучастно смотрящим вдаль. Он рассеянно выслушал наши объяснения, манерно обнажил свои сахарные зубы, сплюнул артистически дугою и небрежно обронил: "будет сделано! Наши девки не для всяких. Пускай своих ищут!". Так он истолковал наши побуждения.

Решительное сражение произошло на следую-

щий же день, недалеко от дома Поли (подальше от полицейского участка), в момент, когда Поля, нагулявшись в сквере, игриво щебетала, стараясь одурманить кавалеров, а три студента, подобно петухам, задорно выступали на флангах в сознании своей непобедимости.

Мы держались неподалеку в резерве, скрываясь в тени деревьев. Сверх всяких ожиданий, сражение оказалось молниеносным. Это был по-настоящему "блитцкриг". С криком "не тронь наших девок!" на трех студентов бросились пять босяков под командой Мишки. В тот же миг Поля с воплем кинулась в ближайший двор, а студенты... как зайцы, пустились наутек по направлению к скверу, очевидно, считая ниже своего достоинства драться с босяками.

В последующие вечера не было видно ни Поли, ни студентов. Наша радость скоро сменилась торжеством, когда мы узнали, что семья Занович оставила квартиру на нашей улице и переселилась в город.

Так, по инициативе и директивам Феди, без кровопролития и лишних жертв, добрая мораль восторжествовала над пороком и надолго, если и не навсегда, наша улица была избавлена от "женского вопроса".

И это было сделано руками темных, не знающих морали, орлов нашей планеты, в точности согласно утверждению Ницше.

Много их было, этих героев, на нашей маленькой планете, красочных и бесцветно-серых, а по существу жалких, одиноких и глубоко несчастных.

Долгие годы живя среди них, то и дело сталкиваясь с ними, мы много раз пытались воздействовать на более толковых, обучить их хотя бы

грамоте, но не могли похвалиться спасением, хотя бы одной, единственной души.

Правда, мы все же надежды не теряли, так как, подобно прочим всем, в те времена и мы глубоко верили в существование "прогресса", некоей благодатной силы, неумолимо и неудержимо, как бы автоматически, влекущей человечество к благополучию и совершенству. Утверждение Бокля в его "Истории культуры", что высота прогресса прямо пропорциональна количеству употребляемого мыла, поразило нас своей простотой и многообещающими перспективами, даже для нашего темного царства. Почему бы при этих условиях Алешке-заикале, например, если бы он согласился брать ежедневно ванну, не экономя мыла, не сделаться хотя бы Демосфеном, тоже в прошлом заике?

VII.

Все тот же чудный майский день, но свинца в груди, как не бывало, а кондуит непозволительно забыт.

После праздничного обеда в кругу семьи, исполненные безоблачного счастья и надежды, собрались мы все четверо у нашей лодки.

Обменявшись впечатлениями о событиях дня, стоим мы погруженные в глубокое раздумье. Что предпринять? Бездействия мы боимся больше, чем природа пустоты. Задача, правда, не из легких. Теперь предстояло предпринять что-либо доселе еще невиданное и неиспытанное нами, что-либо смелое и интересное, чтобы достойно украсить первую страницу нашей новой жизни.

"Зрелость", обретенная ценою долгих испытаний тремя из нас, и решение Васи сменить семи-

нарию на университет, требовали подвигов, а не развлечений.

В клубе в нашу честь была устроена пирушка и там публично, с участием знакомых, а также случайных покупателей буфетчика, всесторонне дискутировались различные предложения и проекты: поездка на Кавказ, прогулка в Крым.

Уж начало казаться, что наша фантазия, как и действительность вокруг, слишком бедны, чтобы оказаться на высоте такой большой задачи. Но неожиданно попросил слово, неизвестно каким образом попавший на банкет, молодой из начинающих лесник, по имени Наум. Речь его, а еще больше пояснительные к ней жесты, разверзли перед нами закрывшиеся, было, небеса.

Обычно, каждую весну, пояснил он, составленные в верховьях Днепра, плоты, спускаясь по течению вниз до самого Херсона и проходя прибрежные поселки и города, продают публике и рыбакам за ненадобностью или специально для этой цели заготовленные лодки душегубки. Плоты эти, однако, движутся по черепашьи, с продолжительными остановками у городов и особенно медлят, проходя пороги. Нетрудно, поэтому, нагрузивши баржу душегубками, проделать этот путь в короткий срок и посетить все нужные места, задолго до прибытия плотов. Нужда в этих лодках велика и успех такого предприятия обеспечен.

Путешествие это, однако, не без риска. Места там все глухие, путь далекий — от Екатеринослава до Никополя, а то и до Херсона — и в одиночестве он не решается пуститься в путь. Он предлагает нам сопровождать его. Наша лепта в этом предприятии — по рублю на брата на продовольствие и револьвер, который мы должны добыть.

Присутствующие, и особенно Яков Иваныч, отнеслись очень кисло к этой речи, для нас же четырех не было сомнения, что Минерва, Меркурий или даже сам Зевес, явились на совещание, приняв обличье лесника Наума. Единственный вопрос, который мы позволили себе поставить, был: "когда и где?"

Снаряжение этой экспедиции, — был ответ, — почти закончено; остановка лишь за компаньонами.

Мы тут же заплатили по рублю и объявили, что ждем распоряжения выступить.

Через три дня после банкета, глубокой ночью, в клубе мы распивали чай в ожидании рассвета и Наума, который должен был вести нас в этот час к месту погрузки.

Дома мы сообщили, что едем на пороги и эта весть вызвала вздох облегчения у родных, опасавшихся каких-либо экстравагантных предприятий. Поездка на пороги была частой экскурсией наших мест и совершалась обычно на арбе, набитой сеном.

Яков Иваныч был все дни не в духе, бубнил все недовольно и всякий раз, когда мы говорили, что едем "на пороги", поправлял: "не на пороги, а через пороги".

— Разница ведь лишь в предлоге, — шутили мы.

— Эта разница вам может стоить жизни, — упорно повторял он.

— «Alea jacta est», — объясняли мы ему на пальцах значение этого латинского речения.

Единственно, что нас самих смущало, это таинственность приготовлений и странный час, назначенный для старта. Но, зная привычки наших со-

граждан по планете, мы полагали, что предосторожности не могут быть излишними в нашем царстве.

Уж рассветало, когда явился, наконец, Наум и первым делом справился, достали ли револьвер. Федя показал большой “Смит и Вессон”, из барабана которого грозно глядели свинцовые, большие пули. Простившись с лавочником и его женой, мы двинулись, в сопровождении Якова Иваныча, в дорогу.

Лишь только закрылись за нами двери клуба, нам ясно стало, что на Олимпе не было согласия между богами по поводу нашего участия в экспедиции Наума. Планета наша вся была в тумане. Тяжелая завеса облаков скрывала солнце, моросил холодный мелкий дождик. Днепр дымился, как вулкан перед извержением, и клубы пара подымались к облакам.

Мы шли будто по неведомой земле по направлению к пучине и, вдруг, увидели перед собою на воде сооружение, по форме и размерам, действительно, еще невиданное на Днепре. Вблизи этого сооружения на берегу маячили три силуэта. Мы подошли поближе.

— А вот наш лоцман, а это его внуки, помощники-гребцы, — сказал Наум.

— Здоровы булы, панычи, — обратился к нам, протягивая длинную сухую руку, высокий худой старик в темной свитке и соломенной, видавшей виды, шляпе. Худое длинное его лицо с добрыми светлыми глазами было все в морщинах, а седые усы по-казацки свисали вниз. Поодаль стояли два парня-подростка и улыбались во весь рот.

Мы поздоровались и стали рассматривать чу-

довище, которое не могло быть ничем иным, как нашим кораблем.

Мы увидали баржу, необычно длинную, широкую. Общий вид ее, цвет дерева и побитые края, свидетельствовали ясно, что при всех условиях это был бы ее последний рейс, даже если бы не было порогов. На барже высились горою десятка два-три душегубок. По обе стороны от баржи, на посаженных на воду душегубках, громоздились две горы другие, образуя как бы непрерывный полукруг и увеличивая в добрых три раза ее диаметр. Сеть веревок скрепляла лодки меж собой и прикрепляла их к барже. Свободными на барже оставались лишь часть, прилегавшая к корме, где выдавалось что-то вроде собачьей будки, и нос, где у скамейки для гребцов в уключинах лежали два больших весла. Все это оригинальное сооружение, плод, очевидно, долгих размышлений и трудов Наума, венчала мачта со свернутым парусом, подвешенным необычно высоко.

Не нужно было быть, конечно, адмиралом, чтобы понять, что не прочность и безопасность путешествия руководили строителем при сооружении этого, на живую нитку сшитого, неповоротливого корабля, и это, действительно, "рассудку вопреки и наперекор стихиям": ведь плыть-то предстояло через пороги!

Первым пришел в себя Яков Иваныч.

Он схватил за грудь Наума, стал его трясти и вопить, себя не помня:

— Ты с ума сошел! Ты всех утопишь! Эту паршивую посудину разобьет на первом же пороге!

Хуже всего было то, что Наум, как Петрушка, склонялся во все стороны, не защищался и молчал. Возможно, что и он прозрел, но поздно!

Мы бросились спасать Наума, а Опанас Петрович, лоцман, спокойно заявил:

.— Оно, конешно, а може и проскочим с Божьей помочью! — Немного подумал и прибавил уже с большей уверенностью, — да не, проскочим!

Несколько минут прошло в молчании.

— Назвался груздем, — сказал тут Вася твердо, — так не кобенься, а полезай, — и, обнявши Якова Иваныча, полез на баржу. То же сделали и мы, за нами все остальные. Парни помогли отчалить, развернули парус и диковинная баржа поплыла. Недолго видели мы Якова Иваныча, стоящим одиноко на берегу, а затем и он исчез в тумане.

Так началось наше путешествие через пороги.

VIII.

Подгоняемый сильным течением и попутным ветерком, корабль наш, поскрипывая, заметно двигался вперед. Мелькали знакомые берега, окутанные рассеивающимся туманом

Прошли пучину и корабль замедлил ход и поплыл черепаш{ь}им шагом. Парус то пыжился, то опадал и беспомощно полоскался. Дождик стих. Небо стало проясняться. Сидя на крыше будки, у кормы, молча глядели мы на серебрившуюся, под все выше поднимавшимся и ярче разгоравшимся солнечным диском, речную гладь, то на дремавшего лоцмана. Он цепкой рукой крепко держал громадное правильное весло, изогнутая ручка которого лежала на его плече. Гребцы, откинувшись назад, мирно спали. Кругом тишина и полное безлюдье.

Утренняя прохлада и бессонная ночь нас разморили. Захотелось есть. За это дело мы принялись тотчас же и с таким усердием, что Наум, не переваривший еще очевидно недавней встряски и ни к чему не притрагивавшийся, запротестовал. Между тем снова потянул ветерок, появились тучи и пошел мелкий дождик. Мы полезли в будку спать. Но, увы, места там было только для трех тел; четвертое все же, как-то вопреки законам физики, вклинившись, тоже улеглось. Наум протянулся у порога.

Вечерело, когда мы, преславно выспавшись, вылезли из нашей берлоги на свет Божий. Корабль наш стоял у деревни Лоцманская Каменка в тринадцати верстах от Екатеринослава. Мы были одни на корабле: лоцман и Наум были на берегу, где, повидимому, уже шла торговля.

Утреннее безмолвие, так сладко убаюкавшее нас, сменилось теперь звоном и шумом. Воздух звенел от пения мириадов мошкары, а от воды, казавшейся совсем черной, шел глухой рев, то несколько стихавший, то резко усиливавшийся. Днепр в этом месте не очень широк, но течение здесь очень быстрое. Скалы различной величины и самых причудливых форм выступают повсюду и вода, разбиваясь о них, кипит местами, как в котле. Здесь уже по-настоящему пахнет порогами и ближайший из них — Кайдацкий — находится всего в трех верстах от этой деревни.

Расположившись на высоком, почти сплошь каменистом, берегу, у костра, мы пили чай, пахнувший дымком и слушали, не отрываясь, Опанаса Петровича. Попыхивая трубкой, он рассказывал нам историю здешних мест.

Деревня эта, откуда он родом, не даром назы-

вается Лоцманской. Мужчины этой деревни несут лоцманскую службу в порядке как бы воинской повинности, и освобождены от всех других казенных обязательств. Милость эту деревне даровала матушка Екатерина, когда с князем Потемкиным в этих местах "гостевала". А даровала она за то, что запорожцы провели через пороги, без всяких потерь суда груженые добром, что везла она с собою. "А уж добра там было — на целый город бы хватило!", уверял нас лоцман.

"А как через Ненасытец суда шли, матушка на камне сидела и так это удивлялась, так удивлялась, что просто на месте усидеть не могла. Баба была весу знатного, ну, камень под ней и поддался. Так у Ненасытца камень этот и стоит и впадина на нем, как была, так и осталась".

С ранних лет мужчины этой деревни проходят лоцманскую науку, сопровождая своих отцов в их плавании на различных судах через пороги и затем, достигнув определенного возраста, после экзамена сами становятся лоцманами. Ни одно судно не может пройти через пороги, не имея разрешения Речного Управления, за каковое взимается немалая пошлина, причем Управление же предоставляет и лоцмана. В шестьдесят лет лоцмана выходят в отставку и получают пенсию.

На этом месте рассказа Наум как-то беспокойно заерзал. Возраст нашего лоцмана, которому было явно за семьдесят, и смущение Наума невольно навели нас на мысль, что в нашей экспедиціи легальным формальностям вряд ли было отведено должное место.

Позже нам пришлось в этом убедиться при обстоятельствах столь же неожиданных, сколь и неприятных, когда наш корабль, пройдя пороги, был

арестован в Кичкасе, со всем его живым и мертвым инвентарем, за полное несоблюдение формальностей путешествия через пороги, в том числе и правил безопасности.

Но в эту минуту мысль эта промелькнула, не оставив следа, и мы с захватывающим вниманием продолжали слушать лоцмана, красочно сообщавшего нам удивительные вещи о порогах.

— Было время, — рассказывал он, — давно это было, когда никто порогов на Днепре не знал и никогда о них не слышал. Днепр тек тогда, не торопясь и без шуму. Были в этом месте, правда, небольшие горы, но только на берегу. Приключилась эта беда чисто по вине патриарха нашего Авраама, проживавшего со всей своей большой семьей неподалеку от нынешнего Кайдацкого порога.

Как-то Господь, больше шутки ради, приказал Аврааму принести в жертву сына своего Исаака.

— Авраам, ну, што б ему подумать, — где же такое Господь може приказать?! — положил сына всурьез на большой камень — камень тот и посейчас стоит на том же месте; я вам его покажу, як будем проходить порог, — и стал точить нож. Господь бачит, що цей дурень и вправду сына зарезать може, да со смешком, и не так, чтобы тихо, но и не дуже громко, каже: "вижу, говорит, твое послушание. Но сына не чепай и с миром иди до дому". А патриарх на ухо туг, не слышит и заносит уже нож, чтобы ударить сына. Тут Господь осерчал, да как гаркнет: "тебе это я говорю, или кому другому?" От голоса Господнего горка-то на берегу, ну, как горох рассыпалась, а камни попадали в воду и загородили речку и не как-нибудь, а на целых шестьдесят верст. И получи-

лось: где загородка от берега до берега через всю реку, там порог, а где от речки, что осталось, проход есть, там забора. Да и на заборе гляди в оба: есть такие, что гирше и опаснее порога. И вот теперь оно и выходит: туда так, а назад никак! И сколько лыха от этого гнева Господнего приключилося, — продолжал лоцман, — и рассказать нельзя. Людей там погублено — не счесть, а еще больше добра. А злее всех порогов Дид (так лоцмана называют Ненасытец) — ну, чистый паук! И ему все мало: года не проходит, чтобы не губил он души христианские.

— Дид страшен, да он и не одын, по нашему там еще одиннадцать порогов понаставлено. Ученые считают всего девять, а мы двенадцать (некоторые из забор лоцмана считают порогами). Бывае, так, что Дид сплошае, не осилит, так Внук свое возьмет (так лоцмана называют порог Волнигский, в 14-15 верстах от Ненасытца). Да и на заборах лоцману нельзя дремать, а их до тридцати. И вся эта дорога устлана костьми, да и лоцманских там немало. А добра, добра — на это просто нету слов!

— Ежели казну бы всех царей да вместе бы сложить, то и тогда казна бы эта не сравнялася с добром, что покоится на дне порогов...

Как бы подавленный воспоминаниями, лоцман, покачивая в раздумьи головой, замолк. И мы молчали, целиком во власти бесхитростного рассказа, а еще больше окружающей обстановки. Как-то сразу, совершенно незаметно, черная непроглядная тьма окутала все вокруг, и землю и воду. А за гранью костра зияла бездна, глухо рокочущая, враждебная бездна, и лишь небесный свод горел мириадами огней, ярких, приветливых, вечных ог-

ней, тех же самых, которые светили и патриарху, когда он заносил свой нож над невинной жертвой послушания. И под этими огнями нам, из нашего маленького, затерянного среди кромешной тьмы, едва освещенного костром, круга и впрямь показался Кайдацкий порог с камнем жертвенником столь же близким, и столь же далеким, как и город Ур на Ефрате, где по другой версии произошло это событие.

Первый порог, Кайдацкий, был, как я уже упомянул, совсем близко, но нужно было ждать утра, так как ночью простым смертным нет пути через пороги. „Ночью души погубленных казаков носятся по порогам", — объяснял нам лоцман, — и плачут по земле, по родным, по покинутым зазнобам. Оттого так силен и страшен рев порогов по ночам".

— Немало было смельчаков-казаков, — рассказывал дальше лоцман, — которые пытались проникнуть в порожье подводное царство. Смельчаки эти хотели повидать родных, друзей, а еще больше унести с собой что-либо из несметных богатств этого царства. Все там и остались, ни один не вернулся.. Но люди верные говорят, что один казак слово такое узнал, побывал там и вернулся, но только вернулся он с печатью на устах. Про что другое мог говорить, как все люди, а как про это, так сейчас же немел. Так никто от него ничго и не узнал. Но только одарили его там, должно быть, по-царски. Но казак себе только малость оставил, а все в монастырь отдал на вечное поминовение. Может, с тем ему казна и дана была?..

От ночной ли прохлады, или от страшных рассказов, но нас трясло, как в лихорадке, и зуб не попадал на зуб.

Наш Днепр, такой родной и кроткий и даже в гневе всегда милостивый к нам, здесь обернулся злобным, ненасытным пауком-кащеем.

“Это не Днепр”, подумал я, все еще во власти гимназической латыни. “Это Стикс, а наш корабль — лодка Харона, да еще усовершенствованная, а путь наш с таким кораблем прямехонько к “Диду” в его паучьи лапы”.

Костер едва тлел. Лоцман, сидя, дремал и его слегка склоненное длинное, сухое тело с опущенной головой, напоминало спящую большую птицу.

Я тихо сказал товарищам:

— На нашем банкете у лавочника Наум представлял не богов, а Харона.

— Харон, — окликнул Вася, крепко спавшего, Наума.

— Это мой брат Арон, а я Наум, — ответил он спросонья.

Под рев и плач реки, ни на минуту не стихавший, тесно прижавшись друг к другу, крепко уснули и мы.

IX.

Ушла ночь и наступило утро и снова вступила жизнь в свои права. Скрылись тени прошлого, ушли в небытие, а с ними и все страхи и сомнения. Знакомый мирный шум проснувшейся деревни, перекликание петухов, собачий лай, мычанье коров и людские голоса сменили сладкой колыбельной песнью зловещий плач Днепра. Под этот шум, на камнях без подстилки, в одежде смоченной ночным дождем, спалось крепко, сладко и дышалось спокойно и легко.

Проснулись мы все, как будто по команде, и

удивились радостно. Блестящий, теплый свет потоком лился из низко-низко распростертого над головами небосклона. Живой росой кропил он землю, воду; будил и звал всех к действию, труду. Вокруг все двигалось, шумело, пело. Мы были одни. Лоцман с внучатами и Наум трудились на корабле, крепили связи. На месте костра, под огоньком, чайник на треножнике то тоненько запевал, то весело и часто булькал. Довольные, готовые, как прежде, сразиться и победить, мы встали, умылись у реки — купаться вблизи порогов положено лишь бестелесным душам — напились чаю и спустились к кораблю.

— А що, паничи, перинка Каменки помягче буде мамкиной постельки? — встретил нас лоцман с приветливой лукавою усмешкой.

— И сравнить нельзя, — ответили мы хором.

— Так, може, Каменка вам так понравилась, что вы тут и гостевать останетесь? — хитро прищурившись и многозначительно мигая в сторону Наума, заметил он. У Наума беспокойно забегали глаза.

— Мы не в Каменку собрались, а на пороги, — со скромной гордостью обреченных, заявили мы.

— Добре, паничи, — уже серьезно сказал он, — коли так, так залезайте на баржу и с Богом в дорогу!

И вот, мы снова на крыше будки. Золотое утро. Вокруг не шелохнет, а под нами крутит и кипит, и корабль наш, сразу взявший необычно быстрый курс, то и дело вздрагивает, как живой. На сравнительно не широком русле он кажется еще более громоздким и нескладным, чем обычно. Близкие обрывистые берега, покрытые кустарником и тощими деревьями, здесь выше, особенно

правый, но так же скучны и пустынны, как и до Каменки, и с нашей крыши мы, молча и испытующе, глядим на берега, на воду и напряженно обозреваем далекий горизонт. У всех одна и та же мысль: "каков он, наконец, этот порог? выдержит ли испытание наша без вины виноватая посудина, пройдет она порог?"

— Вот, панычи, — прервал неожиданно молчание лоцман, — в самый раз теперь бы добру писню спеть.

И правда, "в минуту жизни трудную", чем можно скрасить ожидание и прогнать сомнения, как не русской песней. И мы запели.

Регентом и запевалой у нас считался Лева. Голос у него был, по собственным его словам — универсально-диалектический, так как менялся в зависимости от песни и даже места. Дубинушку, например, он запевал высоким тенором; свой любимый романс "Среди долины ровныя" — баритоном. На воздухе обычно он пел густым басом, стараясь подражать Шаляпину, и наиболее частой жертвой этой диалектики была ария — "На земле весь род людской". Привычным жестом взлохматив волосы, Лева, с чувством безнадежно алчущего земли пловца, затянул "Среди долины ровныя". Мы подхватили не совсем уверенно: слишком резок был контраст между "ровною долиной" и колеблющейся жидкой почвой под нашими ногами. Лоцману были, очевидно, чужды эти мысли. Он одобрительно, в такт песне, двигал головой, а во время припева даже и ногами. На минуту песня эта унесла и нас далеко от всяких лав, забор и прочих испытаний.

Пропели, немного помолчали, обозревая горизонт... Диалектика имеет, конечно, свои законы и,

повинуясь очевидно им, Лева уже не басом, а протодиаконской октавой, явочным порядком, без предупреждения, запел: "Реве тай стогне Днипр широкий". И в какой момент! В момент, когда рев и стоны многострадального Днепра с каждой минутой становились все громче, все страшней. Но он не кончил еще и первой фразы, как "некто", тот, кто здесь действительно правит и распоряжается, с такою силой ударил в дно баржи с явным приказанием прекратить, что мы от неожиданности подскочили — и именно на слове "Днипр" — Лева поперхнулся и замолчал.

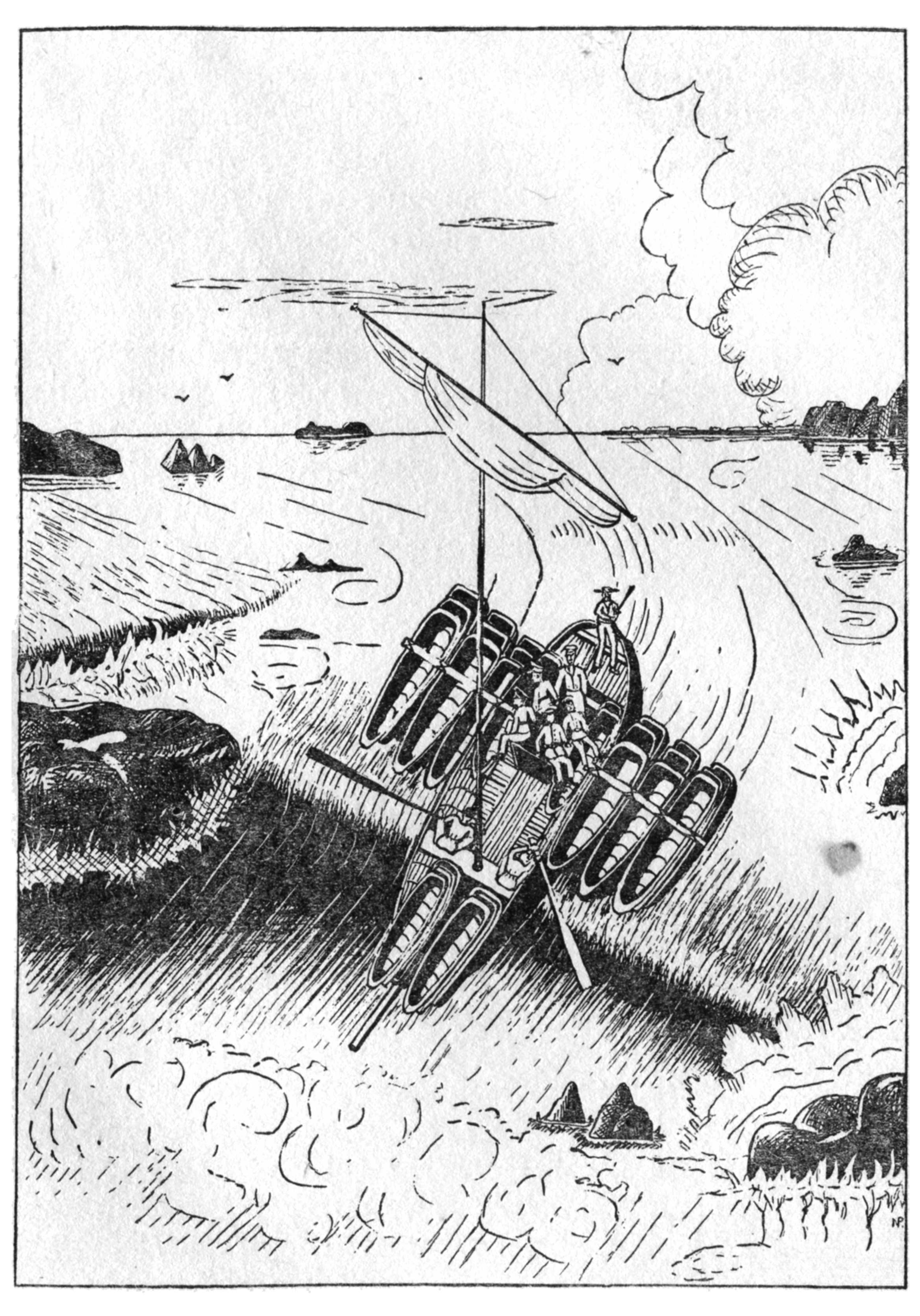
А дальше все пошло, как в калейдоскопе. Удары следовали все чаще и становились все сильней, а наш корабль, ускоряя ход, в ответ то и дело содрогался и жалобно скрипел. Река ревела оглушительно.

Рывком с сиденья поднялся лоцман. Ногами он уперся в бока баржи и, сорвавши шляпу с головы, коротко скомандовал: "молись".

Гребцы, до сего часа с начала путешествия не произнесшие ни слова, теперь сидели с каким-то новым осмысленным выражением на лице. Они тотчас же обнажили головы, перекрестились и опустили весла в воду. Видя это, мы невольно обратили наши взоры к Васе, молчаливо вопрошая, не помолится ли он о путешествующих через пороги. Вася сделал непонимающее лицо и вид его, казалось, говорил: "я, мол, больше не поп in spe, а всего лишь филолог". Не оставалось ничего другого, как глядеть вперед.

Легкий поворот и перед нами открылось зрелище, которое, действительно, нельзя забыть.

В сотне метров река кончалась резкой черной полосой, а дальше начиналось от края и до края,



Легкий поворот и перед нами открылось зрелище, которое действительно нельзя забыть.

от берега до берега, белое искристо пенистое поле. И это поле приближалось с головокружительной быстротой. Повсюду, куда ни глянет глаз, острия камней, то погружающиеся в пенистые волны, то грозно выступающие вновь. Со страшным грохотом и силой бьют волны в эти камни, пенясь и рассыпаясь каскадом сверкающих на солнце брызг. Они обходят эти скалы, кружатся и, откатываясь по уступам, обнажают пучины страшной глубины. Все поле, как живое, то вздымается, то опускается, как будто дышит, и, как живое, без устали ревет и стонет. И нет на всей этой несущейся поверхности полоски, откуда бы не глядели остроконечные зубья скал.

Время измеряется секундами, а каждая секунда длится час. Лоцман стоит, как коршун, изогнувшись, и цепко сжимает правильное весло. Гребцы, держа протянутые весла высоко над водой, ждут напряженно. Корабль неудержимо, все быстрее летит к пучине и нет той силы, которая могла бы его остановить. Скачок и он захвачен пенистым потоком.

Вихрь водоворотов, пены, брызг слепит глаза. Удары в днища баржи и посаженных на воду душегубок так часты и сильны, что вот-вот разметают и в щепы превратят скрепленный веревками корабль. От перевала к перевалу он то низвергается в пучину, то выплывает вновь, и под твердой лоцмана рукой, ежесекундно меняя курс, летит мимо бурунов, острых скал и водопадов. Где силы руля недостаточно для поворота, лоцман коротко командует:

— Правенькая, — и гребец в тот же миг изо всей силы один раз загребает. — Левенькая, — и то же делает другой. Малейшее прикосновение

к камню означает неминуемую гибель. И это состязание со смертью длится сто двадцать секунд...

Еще секунда, сто двадцать первая, и перед нами снова наш прежний "тихий Днепр", а наш корабль, как обезноженный старый мерин после короткой непосильной скачки, плетется снова привычным черепашьим шагом.

Река затихла, и мы молчали, не в силах еще осознать все, что за эти сто двадцать секунд мы видели и испытали.

Лоцман тяжело опустился на сиденье. Руки его заметно дрожали.

— Дуже напужал вас порог, панычи? — все с той же добродушной лукавою усмешкой обратился он к нам.

— Как могли вы, Опанас Петрович, в этом кипящем котле находить дорогу и маневрировать с такой уверенностью? — стали расспрашивать мы лоцмана.

— Дорога есть, как же можно без дороги. А бывае, что не одна есть, а две. Перво наперво есть староказацкий ход. В стародавние времена был разведан этот ход запорожцами. Недаром далась казакам эта наука — не деньгами, а кровью платили за нее казаки. А то есть и другой "новый ход", где ближе к берегу, а где посередине. Тут уж ученые люди потрудились — камни без счету повзрывали, да денег миллионы погубили, а толку, по нашему, не добились. Оно хоть "новым ходом" путь и полегче, да самый ход потесней выходит, а, значит, и опаснее казацкого. Ненароком, с рулем як не управишься и, не дай Боже, на камень кине, ну, тогда прямо к Диду в лапы и спускайся. Оттого мы, лоцмана, "новый

ход" не любим и ходим староказацким, как предки наши. А на этом ходу каждый камень у нас на перечете; каждый и название свое имее и о каждом деды и отцы наши нам рассказы оставили. Камень тебе не вода, с места не уходит и по этим камням, как моряки по звездам, и мы дорогу находим. Не в том труд здесь, чтобы дорогу найти, а в том, чтобы ее держать. Кайдацкий порог, что прошли и не дуже трудный, а плечо от весла небось ломит, да и руки малость устали: трудно направление держать. Все вода норовит с пути сбить, да на камни бросить.

— А далеко ли до следующего порога и труден ли он? — не без беспокойства спрашивали мы.

— Вторым порогом будет Сурский, самый малый. Он куда меньше Кайдацкого, почитай раза в четыре, да только проход там труднее будет.

Вот уж где камней понакидано — куда ни глянь, все камни и так они кучками до самого третьего порога и тянутся — да до него и недалеко, рукой подать, версты полторы от Сурского не боле, и название ему Лоханский.

Ну этот, скажу я вам, панычи, и взаправду особенная штучка: посреди порога два каменных острова и третий поменьше недалече посажены и тут тебе направо промежду берегом и островом один ход, другой налево. Каким хочешь и иди. Лоцмана уважают, що левее. Он хоть и не так широк, да глубокий. Зато быстрина там скаженая; несет пошибче Ненасытца.

Вот уж покатаетесь в Лохани этой, панычи, ну, как с горки на масленицу, только куда шибче.

Мы переглянулись, а Федя не без горечи заметил:

— Если бы аттестаты выдавались на масленице, мы бы удовольствовались, пожалуй, и в самом деле укатанною горкой, особенно, если бы знали, что придется лезть в Лохань.

А лоцман продолжал:

— Пять верст пониже и опять порог, Звонецкий, по счету четвертый. Этот никому не страшен, а вот до него есть забора — Богатырской прозывается, хоть и не порог, а и там тоже немало нашего брата сгублено. Трудный проход.

Вероятно лица наши показались ему несколько обескураженными и он успокаивающе прибавил:

— Теперь буде. Зараз все услышите, панычи, все и позабудете. До Сурского порога верст буде с восемь, да еще с гаком. Тылько к вечеру мы туда и доберемся. Есть время поснидать, поспать да и песни поспивать. Переночуем, тай с Божьей помочью, как солнышко взойдет, все три порога и пройдем. Ну, а там и Дид недалеко. Про Дида я уж вам казав. Он, правда, сердитый, да вы не бойтесь, это как когда. А с молитвой и сам чорт не страшен.

Лоцман замолчал и стал дремать.

Насытившись всем услышанным, мы поели без особого аппетита и завалились в будку спать. К вечеру пристали к берегу неподалеку от порога.

X.

На утро, как только солнышко проснулось, весь экипаж корабля был на ногах. С особым рвением при нашем участии проверили все скрепы: где подвязали, где подтянули. Хитрая улыбка ползла по усам лоцмана, когда он смотрел на на-

ше рвение: до его рассказов мы состоянием корабля совсем не интересовались.

День выдался тихий, ясный. Отчалили и поплыли. Снова мы на нашем обсервационном пункте — на крыше будки и пристально оглядываем горизонт. Все молчат. Порог совсем близко. Вдруг, сильный удар в дно баржи и вслед за этим частые удары в днища душегубок сжимают сердце страхом. Корабль все больше ускоряет ход, он трясется и жалобно скрипит. Рев все сильнее, все оглушительнее.

Встает лоцман; ладит правильное весло. Гребцы держат весла наготове.

Команда: "молись".

Еще несколько минут и перед нами ревмя ревущее, беснующееся поле. Оно все ближе и кажется, что там вовсе нет воды; только камни и густая пена.

Как от гигантского толчка, корабль низвергается в пучину, чертит причудливый свой путь и через минуту, через долгую минуту, он снова невредим и цел на своей стихии, на воде.

Лоцман садится, но гребцы не убирают весел. Корабль не плетется, как обычно, а бежит и камни группами и в одиночку везде, куда ни глянет глаз. Мы знаем, что идем к Лохани, где течение быстрее, чем на Ненасытце, и для нас время бежит быстрее корабля.

Как будто, только что прошли порог и, вот, уже снова перед нами знакомая и вместе новая картина: такое же беснующееся поле, только широкое, большое, сплошь усеянное остриями скал. Посередине поля два острова, две каменных громады. Об их блестящие бока в бессилии разбиваются

громадные валы и брызги закрывают горизонт. Вокруг все скачет, пляшет и неистово ревет.

Команда: “молись”. Еще секунда и мы подхвачены несущимся пенистым потоком и катимся неудержимо куда-то вниз. Корабль, как на ухабистой дороге, то поднимается и жалобно при этом стонет, то падает куда-то вглубь. Еще скачок и порог пройден.

— Славно покатались, панычи? Не набрехал вам старый лоцман!

— Так покатались, что на всю жизнь, пожалуй, хватит. Спасибо вам, Опанас Петрович. С кем другим недолго на такой дороге и голову сломать.

Лоцман улыбается и, разглаживая свои казацкие усы, серьезно говорит:

— На Лохани лоцману голову ломать неслед, да и негоже. Впереди еще “Дид и Внук”, а без головы не то що Дида, а и Внука не осилить. Нам сейчас забору Богатырскую пройти, от Лохани версты две, а там до Звонецкого порога дорога, як у новой хаты пол. Да и на Звонецком только малость потрясет. Порог пройдем и заночуем.

С порогами мы уже по нашему мнению были слишком хорошо знакомы, а забора нас интриговала. Подошли к заборе. Мы увидели подводную гранитную гряду, усеянную рядом расположенных на ней самой причудливой формы скал, преграждающую большую часть русла. Свободный проход широк, но и в нем камней немало.

Задержанная в своем течении, масса воды со страшной силой устремляется в проход и, сталкиваясь там со скалами, образует водовороты и буруны подчас опаснее, чем на порогах. Таких забор на всем протяжении порогов около тридца-

ти, но только некоторые из них, действительно, опасны.

Мы у заборы, Лоцман правит, сидя, без молитвы, но по его покрасневшему, напряженному лицу видно, какого усилия стоит ему держать направление, где одно течение бросает на забору, другое тянет к берегу. Несколько секунд и забора позади.

Прошли забору, и наш корабль, скромный чемпион уже трех порогов и одной заборы, поплелся снова привычным тихим шагом. Мы уже так свыклись с кораблем, что этого движения совсем не замечаем и такой аллюр, как пристань после бури в океане, несет с собой покой и безопасность.

В разговорах о виденном и слышанном мы и не заметили, как прошли три версты и приблизились к порогу.

Панорама Звонецкого порога, открывшаяся нашим, хотя уже и привычным к подобному зрелищу, глазам, невольно захватила нас своей величественной красотой.

Здесь, как и в Кайдацком пороге, перед нами расстилалось большое, казавшееся безкрайным, пенистое поле, усеянное остриями, поднимавшихся из воды, скал.

Громадные валы во всех направлениях бороздили это поле и, перекатываясь через скалы, поднимали высоко над водой фонтаны струй и брызг. Под косыми лучами заходящего солнца поле все искрилось, горело, переливалось цветами радуги.

Рев и стоны мятущейся стихии, удары в днища лодок, дрожь набирающаго скорость корабля, молитва лоцмана — миг, и мы во власти пенистого моря. Неожиданный удар в левое крыло такой силы, что сместились душегубки и корабль дал

крен, на мгновение снизил нашу ейфорию, но, прежде чем возможно было осознать опасность, порог был позади.

Как раненая птица с подбитым крылом, наш корабль некоторое время продолжал еще свой путь. Мы обозревали крутые, обрывистые берега, искали места для причала. Нашли удобное место и пристали к берегу.

День, клонившийся к концу, был, действительно, необыкновенным: три порога и одна серьезная забора пройдены успешно. Наш корабль, предмет столь оскорбительных названий, как "паршивая посудина", "старый мерин", на деле показал себя рыцарем без страха и упрека и раненый, он, как благородный воин, не только не покинул строя, не лег на бок, а продолжал свой бег, пока не вынес доверенных ему людей и груз из поля битвы.

У берега мы тотчас же бросились осматривать рану корабля. Одна из душегубок лежала боком, сместила и приподняла душегубки всего крыла и размотала путы. Как силен должен был быть удар волны, пришедшейся в это место, а может быть, причиною был камень?

Лоцман, видавший, конечно, виды и похуже, посасывая трубку, спокойно заметил:

— Рахуба не велика; не черепки. Переложим, тай опять подвяжем.

XI.

Мы расположились на берегу. Зажгли костер. Лоцман с внучатами стали варить кашу. У нас оставался только хлеб да чай; днем мы доели последние остатки провианта. За чаепитием Наум неожиданно заявил:

— Здесь трудно что-нибудь достать, но мы могли бы сойти на берег до Ненасытца и попытаться купить, хотя бы хлеба.

— А корабль будет нас ждать?

— Нет, — заметил он, как бы вскользь, и глаза его забегали. — Ненасытец мы пройдем пешком; с берега вид очень красивый и сядем на корабль, пройдя порог.

Предложение это было как будто и ново и неожиданно и вместе с тем, стыдно сознаться, подобная мысль таилась где-то и у нас в мозгу. Очевидно, Звонецкая авария не прошла бесследно и для нас.

Мы ели хлеб, запивали чаем и долго думали. Нарушил молчание Федя.

— Естествознание установило с точностью, — убежденно начал он, — что природа страдает недопустимой расточительностью. Факт этот нашел свое выражение в известном афоризме: "если природе нужно убить зайца и только одного, то для большей уверенности она выпускает десять тысяч пуль, расточает понапрасну амуницию и делает сотни ненужных жертв". Природе понадобились пороги...

— Позволь, — перебили мы его: — причем тут природа? Пороги сотворил Господь по вине патриарха Авраама...

— Я пантеист, — отпарировал Федя, — и для меня Бог и природа — синонимы. Так вот, природе понадобились пороги. Зачем же нагромождать такое число — девять или двенадцать, — не говоря уже о заборах. Разве недостаточно и четырех; нам вполне достаточно и мы их все прошли с честью! Цель и обязанность человека ошибки природы исправлять, а не следовать ей слепо.

— Это все так, — пробовали мы все же возражать, — но для нашего сознания, как и для публики, для близких, пороги это — Ненасытец. Пройти пороги, минуя Ненасытец, не значит ли это уклониться от цели путешествия?

— Против заблуждений надо бороться, а не потакать им, — с убеждением заявил Федя. Течение в Лохани быстрее Ненасытца, 2,5 сажени против 2 сажен в секунду на Ненасытце, и он не менее опасен.

Последний аргумент показался нам совершенно убедительным и мы решили просить лоцмана спустить нас на берег до порога.

На пустой желудок, но исполненные удовлетворения и спокойствия после принятого решения, мы вернулись на корабль. Лоцман и внуки уже спали.

С рассветом началась работа по исправлению аварии. Она уже близилась к концу, а мы все медлили, не решаясь открыться лоцману. Ждать больше нельзя было и я, конфузясь, сказал:

— Мы решили просить вас, Опанас Петрович, спустить нас на берег до порога. Провиант у нас весь вышел, да и хлеба осталось только малость. Неподалеку от порога есть рыбацкая деревня, где можно достать хлеб и сало. Науму места эти знакомы.

— Добре, панычи, — ответил лоцман, не подымая головы и продолжая работать, — пошукайте, може и достанете, а мы с Наумом порог пройдем, да за порогом будем дожидаться вас.

— Я хочу пойти с ними, — заявил не совсем уверенным голосом Наум, — без меня они не найдут, где купить, да им и не продадут.

Лоцман ничего не ответил. Работа продолжа-

лась, все молчали. Подвязали снова крепко-накрепко душегубки, осмотрели все скрепы, все узлы.

Уже над далеким горизонтом поднималось солнышко и золотило своими лучами неторопливо бегущие здесь воды Днепра, когда мы, наскоро напившись чаю, наконец отчалили.

Наша будка, служившая нам столовой, спальней и наблюдательным постом, была у самой кормы и нам больно было глядеть на чужое, недовольное лицо лоцмана, с которым мы так сжились и сдружились. Еще хуже было то, что блеск Фединой диалектики в нашем сознании успел за ночь значительно потускнеть, а с ним и уверенность в нашей правоте.

Предпочесть хлеб и даже с салом приключению, хотя бы сопряженному с опасностью, было противно нашей натуре и морали. Все мы это чувствовали и все от этого страдали. И все же пуститься в путь по Ненасытцу на нашем корабле, особенно после дизертирства его родителя, Наума, казалось безрассудным. Нужно было снова пересмотреть вопрос.

— А правда ли, Опанас Петрович, — начал я тоном полной невинности, — что Лоханский порог так же опасен, как и Ненасытец, а течение там даже быстрее?

Лоцман вскинул на меня свои до того прищуренные, как бы отсутствующие глаза, мгновение всматривался и затем его лицо приняло прежнее доброе с хитрецой выражение, и со смешком сказал:

— Який дурень то вам насобачив?

Федя скромно опустил глаза.

— Вода в Лохани быстрая, то правда; може

и быстрей бежит, чем в Ненасытце. Да Ненасытец длиной с версту, а Лохань... куда Лохани до Ненасытца, так, коротышка! Да не в том загвоздка. На Ненасытце, паничи, я вам того прежде не казав, а сейчас, как к слову: — на Ненасытце семь лав понаставлено и все они разные — одна лава повыше, другая пониже и как по ним идти, так и несет то в гору, а то долу, а последня лава, Билой называется, наигоршая и есть. Она допрежь всего наивысшая, а за нею яма, сажени в три, и тут такая идет завируха, ну, как в пекле. И имя тому месту так и есть — пекло. Оно и по другому еще прозывается, бо вода там желта-желта (название не совсем цензурное) и тут-то Диду и пожива. Как плот али баржу порог возмет, до Билой донесет, да в яму кине — в самое, значит, пекло, тут-то и держись: чи выскочишь, чи нет.

— А вы кажете — Лохань. На Лохани, правда, кидае, так и младенца в зыбке тож кидае, а Ненасытец всем порогам голова. Ненасытец прошел и пороги позади.

Лоцман явно был обижен нашим сравнением Лохани с Ненасытцем.

— Как к Ненасытцу подойдем, — продолжал он и тут на мгновение осекся и при этом как-то многозначительно поглядел на нас и вскользь заметил: — с берега оно тож хорошо видать. Как к Ненасытцу подойдем, так два хода и откроются. Новый ход налево, поближе к середине порога проложен, где две стенки каменных поставлены. Все руками каторжников сделано. И страданий же там принято! Как партию пригонят, недолго поработают и уже новых посылай, а от прежних поди никого в живых и не осталось. Прямо на костях стенки и стоят. Не любим мы лоцмана нового хо-

да. Уважаем больше староказацкий, который к правому берегу поближе, только труден этот ход: тесный он, да кривой; камней там видимо невидимо, а уж несет, да кипит, слов нету! А за Билой Лавой там еще и пекло! Маленечко не угадаешь, ну самую-самую малость, и нет тебе спасения.

Несостоятельность Фединой аргументации была, таким образом, доказана, но какой ценой?!

После рассказа лоцмана мы видели в нашем воображении, как несется наш корабль по порогу, как он ввергается в пучину-пекло, но как он из пекла появляется — представить себе было невозможно.

Теперь уже было ясно, что пускаться по Ненасытцу с нашим кораблем было бы, действительно, затеей непростительной. И мы были рады, что лоцман уже знает о нашем желании сойти на берег до Ненасытца и что нам нашего решения менять не нужно.

Лоцман закурил свою трубку. Лицо его приняло прежнее приветливое выражение. Мир был восстановлен. До Ненасытца было около восьми верст. Кораблик наш бежал, как обычно, не торопясь.

Мир был внутри нас после принятого решения и миром, глубоким, гармоничным миром дышало все вокруг. Ни ветерка. Небо сине-голубое без облачка. Золотистый лик солнца, приветливый, огромный, медленно, не торопясь, свершает свое восхождение по небосклону. Днепр здесь величественный, широкий, бесшумно катит свои воды. Берега высокие, крутые, с очертанием холмов вдали, как бы спят, пустынные. Ни следа жилья. Воздух недвижим. Тишина. И лишь крики редких чаек разрывают эту тишину.

Долго мы сидели молча, прислушиваясь, вдыхая и вместе с тем сливаясь с этой тишиной, одновременно “навевающей сон золотой” и вместе бодрящей своей, ни с чем человеческим несравнимой, красотой.

И в унисон нашим переживаниям лоцман каким-то новым тихим голосом, ни к кому, собственно, не обращаясь, произнес:

— Вот бы писню гарну заспивать.

И Лева тут же высоким тенорком запел: “Славное море, священный Байкал”. Незадолго до этого мы впервые с этой песней познакомились. Мы пели ее тихо, с чувством, как того требовала обстановка.

Переживания каторжника, вынужденного плыть по морю в бочке с парусом, показались нам близкими нашим собственным, хотя по песне ни жалоб, ни упреков, каторжник ни морю, ни кораблю не шлет. Исключительная чувствительность, с которой мы пели эту песню, относилась таким образом, собственно, больше к нашей, чем к его, каторжника, судьбе.

— Яка гарна писня, — с восторгом от песни заявил лоцман: — тилько якого ж он биса на бочке в море пустывся?

Мы объяснили ему, что песня поется о беглом каторжнике, у которого не было выбора.

— От то несчастные, — сочувственно заметил лоцман. — Есть же там и такие, що безвинно страдают. На Ненасытце, панычи, вы побачите стенки каменые, что ихними руками сроблены, — снова вернулся к этому лоцман. Песню эту мы должны были несколько раз повторить.

XII.

Не только безмолвие кругом, поражало нас еще и полное безлюдье, как будто берега были совсем необитаемы: ни человека на берегу, ни дымка жилья не видели мы.

— Почему берега здесь так пустынны, почему людей нигде не видно? — спросили мы лоцмана.

— А што ж тут людям робить и кто же тут жить станет; тылько страху наберешься, як ночь придет.

— У самого Ненасытца вы побачите, панычи, стоят хоромы велики да билы-билы и на горе стоят. Издалека видно. То не хата, панычи, а хоромы, може як у царя. И стоят они с давних пор пустые с того часу, як не на нашей памяти великое там лыхо приключилось. Расскажу я вам, панычи, що отцы наши про то лыхо нам повидалы.

— Опанас Петрович, — перебил Федя лоцмана, — гул слышится, не Ненасытец ли это?

— Знамо, — Ненасытец.

— Так, значит, близко?

— До порога еще далеко. У Ненасытца глотка такая, что его издалека слышно. То вам не Лохань, не упустил случая поддеть нас лоцман.

— Жил в Петербурхе, — начал лоцман свой рассказ, — большой, должно, оченно большой чи генерал, чи министр, не упомню, граф Потоцкий и грахфиня при нем. И не дал им Бог детей. Горевали они, по монастырям ездили, да докторов звали и помогло: родилась у них дочка. Дите, как дите, лицом из себя гарная, чернявая, очи черные, тилько пыск собачий. И как кричать зачала, скавчит, як собака. Окрестили ее поспешно и, как крестили и в купели купали, поп лица ее не ви-

дал, а як из купели вынимать зачали, ненароком пыск и открылся. Поп, як увидал, так и сомлел и крест на землю уронил. Примета плохая. Добра после этого не жди.

Дуже горевали граф с грахфиней. Все Богу молились, на монастыри жертвовали, попов приваживали, к старцам на поклон ездили — тилько все без толку. А уж про докторов и говорить нечего. И русские и не русские из разных земель: придут, глянут, головами покачают, да и кажут: "это, кажут, не наукой сделано и наукой не поправить. Тут никто, як Бог". А от Бога тим часом помочи ниякой. Думали они думали, горевали, горевали, да и порешили дом построить на графской земле, што над Ненасытцем. Там жить и от всех людей схорониться. Так и сделали.

Время бежит. Граф с грахфинею стареют, а паненка растет, горя не знает и выросла она здоровая, да крепкая. И лицом бы вышла: очи черные, красивые, да таки черные, што аж страшно; тилько пыск, як был, так и остался, еще больше на собачий похож стал.

И с норовом была дивчина. Граф с грахфинею да и челядь, к примеру, спать ложатся, а паненка одна одинешенька по бережку гуляе, на мисяц поглядае, да нет-нет и заголосит, будто перекликается, а с кем не скажешь, бо никого не видать. А люди то знали с кем, да говорить о том опасались. Как ночью голос паненки услышат, так креститься зачнут, да с головой под перину.

Ненароком прослышала грахфиня, что верст за сто от их земель баба старая живет, ворожея, а кто и просто ведьмой называл, и будто ведьма эта все сделать може.

Послали за ней людей, да силой привели: доб-

ром идти не захотела. Привели, а грахфиня к ней: слезами обливается, про горе свое рассказывает, совета просит.

Приказала ведьма дивчину привести и полдня с нею, в горнице запершись, оставалась. Што там промежду ними было, никому не ведомо, тилько слышно было, як паненка смехом заливалась, а ведьма скрипучим голосом наставления давала.

Зовет ведьма грахфиню та и говорит: "Можно, говорит, горю твоему пособить, хочь и дуже трудно. Приключилась кара эта от греха, в роду содеянного, и тилько через муки може дочь твоя от кары этой очиститься".

— Как же ей страдать еще боле, мало ли уже ей сделано, заплакала грахфиня.

— Нет, — каже ведьма, — муки она должна приять родильные, как Еве это было дадено. И как муки эти примет, так и очистится и станет, как все люди.

Увели ведьму, а граф с грахфиней еще горше закручинились. Где же такой девке жениха найти?

И зачали они письма в Петербурх писать всяким там людям и знакомым и незнакомым, чи не найдется там який охфицер, который, може, через горилку, что пить горазд, або картишки, на гроши, да на жизнь богатую зарится. Все ему будет дадено и горилки, сколько хочет, тилько чтоб под венец пошел. Ну, и нашли.

Гвардеец и тож чернявый, сам собой статный, красивый, тилько до горилки уж очень охоч, а в картишки — так во всякое время. Люди там на службу, або в церкву, або спать, а он в каркартишки.

Объяснили, як и що, а он, где же такому устоять? "Согласен", — каже.

Привезли его к невесте, да перво наперво за стол посадили. Он наився, горилки попил, да и спать завалився. Проснулся и каже: "хочу суженую повидать". А грахфиня с графом, ведьма видно здорово научила, и кажут: "А вы пошукайет, як найдете, так и будет ваша".

И зачал он по комнатам ходить, невесту шукать. А комнат там, може, полсотни, а, може, и боле, и в каждой комнате горилка стоит и с закуской: огурчик там соленый, сальце копченое, ветчинка. Ну, а вин, як горилку побаче, так и покуштуе. Раз покуштуе, в друго ряд покуштуе, да про невесту и забуде. Тилько ждать долго нельзя було. На утро попа заказали и охфицер невесту тилько и побачив, як она под фатой к попу подошла. Сама така статная, грудь высокая и, как лебедь, выступае. "Вот, — думае охфицер, — счастье привалило, и за что мне такая удача?".

Из церкви, як вернулись, и опять таки за стол. А он на радостях за горилку больше прежнего взявся и нет-нет тилько скаже: "а где моя жинка богоданная? — А ему: "одевается, а як оденется, так и заявится". А он опять: "а где моя голубка богоданная? А ему: "умывается. А як умоется, так и заявится". И в третий раз, а ему: "причепуривается и зараз заявится". То все ведьма старая подучила.

Пообедали, а он спать залег.

Вечер пришел. Постлали им постели. Охфицер в постельку лег, да жинку дожидается, хоч и пьяный, а в своем уме и тилько думае: "вот счастье мне привалило. Сейчас кралю свою повидаю". Окно, значит, раскрыто и мисяц прямо в спальню светит, а Ненасытец, известно, — ночью: рев тай плач стоит и голоса слышны. А тут не наче, як осо-

бо постарался Дид, чуе поживу. Охфицер непривычный: стало ему страшно и хмель из головы вон. И слышит, як дверь раскрылась, да в комнату панночка — шасть, як оборотень, и шагов не слышно и к нему идет. А он повернувся, да руки выставив, чтобы, значит, приголубить, а мисяц, как нарочито, пыск тот и осветив.

Охфицер, даром, что вояка, как увидал тот пыск, от страху, як закричит, да сам не свой через окно, да в Ненасытец.

Панночка к окну подбежала, по собачьи залилася, да за ним и сиганула.

—"Много голосов по Ненасытцу ночью носится. Много там плача тай стона", — закончил лоцман свой рассказ:

— Абож, сказывают люди, як мисяц взойдет, и посейчас слышно, як панночка по берегу носится, по-собачьи заливается, — свово чоловика шукае.

Таким убедительным и уверенным голосом рассказал нам лоцман эту страшную историю, что если у нас и были какие-либо сомнения относительно исключительной, не в пример другим порогам, коварности Ненасытца, то они должны были рассеяться. Это был, действительно, паук, глотавший свои жертвы без жалости и разбору.

А гул становился все сильнее и уже больше походил на хорошо знакомый рев.

Лоцман сидел со строгим лицом, как бы к чему-то прислушиваясь. Мы взыскующе смотрели на берег, ожидая с минуты на минуту высадки.

Наум бледный, голосом, дрожащим от волнения, неожиданно заговорил:

— С моим братом тоже случилась страшная история, — начал он. — Он был в Америке и по-

шел гулять в лес. По дороге он увидел лежавшее на земле дерево. Он сел на него, чтобы отдохнуть и, вдруг, почувствовал, что под ним дерево двигается. Он присмотрелся и видит, что сидит на змее, которая наверное проглотила только что корову или быка и спала после еды. Мой брат вскочил, а змея подняла голову и посмотрела на него. Он бросился бежать и не помнил, как добежал до дому.

История эта особенного впечатления на нас не произвела: на ужасы нервы наши больше, повидимому, не реагировали.

XIII.

Сильный, хорошо нам знакомый удар в дно корабля вернул нас к действительности.

— Опанас Петрович, — могли мы только воскликнуть и в этом восклицании был и вопрос и упрек.

А лоцман, глядя в сторону, коротко отрезал:

— Заговорились. Теперь поздно. Идем к порогу.

Мы глядели друг на друга растерянные, а где-то в глубине роилась мысль: "пожалуй, так и лучше. Нам трусить не пристало. Ненасытец мы должны пройти". Вася, у которого всегда была подходящая пословица на языке, выразил это словами: "двум смертям не бывать, одной не миновать".

Наум, сидя на полу у входа в будку, начал молиться.

Рев становился все слышнее.

Лоцман преобразился: теперь это был не наш добрый дед, пугавший нас страшными рассказами, а сухой строгий командир.

— Садитесь по-другому, панычи, двое по одну и двое по другу сторону будки: так виднее буде, — был первый приказ.

— Петрусь, — позвал лоцман внука, — давай веревки.

Петрусь с двумя короткими веревками в руках подошел к лоцману и стал привязывать его колени к скамье кормы. На наш удивленный взгляд лоцман заметил:

— А то склизко, так буде крепче.

С каждой минутой усиливался рев и удары в днища лодок становились все чаще и сильнее. Легкий ветер рябил водную поверхность и течение на глазах все ускорялось, увлекая наш корабль.

А он без ропота, хоть и с заметной дрожью во всех членах, во всем уподобляясь нам, как и он, невольным жертвам обстоятельств, бесстрашно двигался вперед, все ускоряя ход.

— А вон и хоромы, как я вам казав, — указывая рукой на левый берег, напрягая голос, сказал лоцман.

На холме вдали, высоко над водой, стояло белое, сверкавшее на солнце здание с колоннами. Здесь, на пустынном берегу, облитый светом дом казался миражем, фата-морганой.

Но в данный момент все внимание наше было поглощено другим: ожиданием встречи с Дидом.

Медленно поднялся лоцман, прилаживая правильное весло. Потоптавшись на месте, чтобы найти позицию для ног, он, покрывая рев Днепра, скомандовал:

— Молись! — и дольше обычного длилась на сей раз молитва. Наум вполголоса молился за нас всех.

Разверзлась завеса и мы увидели порог.

Перед нами не искристо-пенистое поле, как мы ожидали, а грозное бушующее море. Не скалы здесь и камни устилали водный путь, а дорогу водам преграждали цепи гранитных гор, ряды хребтов. Два циклопических каменных барьера в форме усеченных пирамид, с узким проходом между ними, тянувшихся далеко вглубь, казались островками на этом необъятном море.

Могучий, вольный Днепр в яростном стремлении разрушить цепи, сковавшие его свободный бег, со страшным грохотом и ревом, исполинскою волной несется, не уменьшаясь в своей силе, от хребта к хребту, то вздымаясь водяной стеной, то падая до дна и, с новой силой, устремляясь к новому хребту.

В проходе между барьерами густой тяжелой лавой, от перевала к перевалу, движется вода. И это "новый ход".

По обе стороны барьера волны, в плену у скал без счета, в бессильной ярости кружатся, пенятся и воют, и ревут. И здесь, ближе к берегу, направо среди водоворотов, пучин и водопадов, лежит "староказацкий ход".

Картина, правда, страшная. И наш корабль, как и мы, больше не храбрится и не скрывает страха. Он весь трясется, вздрагивает от все усиливающихся и учащающихся ударов в днища лодок и жалобно скрипит. И нам не лучше, чем ему. Мы сидим по сторонам на будке и держимся за ее края. Корабль то качает, то в сторону бросает.

Лоцман стоит; его длинное, худое тело, как струна, напряжено; из-под нахмуренных бровей сталью отливают щелки глаз.

Удар, бросок, и мы — среди разъяренной стихии.

Рев, гул, и плач, и стон.

Мы идем не к берегу направо, как ожидали, а налево. Еще секунда и мы между каменных громад.

Отчаянные крики лоцмана за помощью к внучатам:

— Правенькая! Левенькая!

На хребте волны несемся мы с одной и на другую гору, то вверх взлетая, то низвергаясь вниз, и так — до Билой, до последней лавы.

Новая волна бросает нас на гребень этой лавы и с нею же, пройдя хребет, мы низвергаемся в пучину, глубокий омут, кипящий водопад с отвратительной желтою водой — в пекло...

И в этот момент, где все зависит от направляющей руки, наш лоцман, не удержавшись на ногах, с размаха опустился на скамью кормы.

Бессильно повисло на плече правильное весло.

Корабль без руля...

Еще секунда и от гигантского толчка, никем не управляемый корабль, как мячик, был выброшен из пекла.

Мы за порогом... На тихой глади; — любая волна теперь нам будет гладью...

Лоцман сидит с опущенным лицом, руки висят, как плети; капли пота катятся по втянутым щекам. Он медленно снимает шляпу и молча крестится. То же делают и внуки.

Мы сидим на дне баржи, куда скатились еще до пекла и не совсем осмысленно глядим то на лоцмана, то друг на друга. Постепенно приходим мы в себя. Наум, с лицом в экстазе, восхваляет Бога за спасение.

Мы живы и корабль цел и Ненасытец позади.

Вася кричит:

— Ура! Ненасытец пройден! — и мы, как автоматы, повторяем этот клич.

Лева сочным баритоном запевает: "среди долины ровныя" и мы от всей нашей столь перетрусившей души присоединяемся: — после Ненасытца теперь весь Днепр для нас, что "ровные долины".

— О це ж конфузия, — смущенно начал лоцман, — чи вы бачили такое? Так в пекло кинуло, што на ногах не удержався. Не наче, як "Разбойник" на последки задумав Опанаса, як галушку, проглотнуть, да подавывся. Спасибо, Богородица Пресвятая заступилась.

Лоцман снял шляпу и снова перекрестился.

— От то "Разбойник"! Я вам, панычи, того не казав. Мы Ненасытец зовем "Дидом", пока порога не прошли, а как прошли, так нет ему другого имени, як "Разбойник". Разбойник вин и есть.

— А вы, панычи, на лоцмана не обижайтесь, что до порога не высадил на берег. Допреж всего — заговорились, а еще рассудить и то нужно, какой же антирес на Ненасытец с берега глядеть? Не дети малые. А так страху, може, дуже и набрались, зато Диду не далися. Нехай слюни утирае.

И тут лоцман, подтянувшись к нам поближе, с отечески доброю усмешкой стал поочередно трепать нас по плечу.

— Что вы, что вы, Опанас Петрович, мы не только не сердимся, а благодарны, что не высадили нас, как мы просили, — искренно и горячо

уверяли мы лоцмана. — Срам был бы и вас оставить и порога не пройти.

— А почему вы, Опанас Петрович, по Ненасытцу "Новым ходом" шли, а не староказацким?

— Пришлося, панычи, бо староказацким на нашем дубе, да с душегубками на поворотах не справиться. Камней без счету, там, ведь, понатыкано и до бису поворотов. Одна бы скрепа, не дай Боже, на нашем дубе ослабла бы, и всим бы нам пропасть. А Ненасытец не Лохань, — с лукавой усмешкой добавил он, — с версту длиной.

Уж солнышко стало собираться на покой, когда мы, наконец, вспомнили, что весь день ничего не ели: ожидание и страх заполонили нас в такой мере, что мы совершенно забыли о еде.

Нужно было искать удобного места для причала. Корабль наш двигался теперь по "глади". Но эта гладь была усеяна камнями. Течение очень быстрое. Приходилось то и дело лавировать, чтобы не сесть на камень.

Вскоре нашли бухточку с отлогим берегом, где камышей было поменьше и ввели туда корабль.

Очутившись на земле, мы от избытка чувств изобразили экспромптом индейский танец не то мира, не то войны, и отправились искать хворост для костра.

Развели костер и лоцман с внучатами стали варить кашу, а мы в ожидании, пока поспеет чайник, наш единственный теперь кормилец, лежа у костра, прислушивались к голодному урчанию в животе и провожали глазами клубы дыма, отгонявшие комаров, тучами носившихся кругом.

Поспел чайник и мы принялись за черствый хлеб, с трудом поддававшийся даже нашим молодым зубам, запивая его чаем — все, чем распо-

лагал еще наш интендант Наум. Не спеша разжевывая хлеб и вдыхая ароматы ночи — земли, травы, воды, — мы были счастливы, довольны: переживания дня владели нами еще целиком.

XIV.

Есть, так сказать, "по-мирному", мы давно отвыкли. Пятый день "в походе" мы питались в сухомятку и кое-как, а последние два дня довольствовались только хлебом и начинали уже чувствовать себя почти, как иоги, чем очень были горды. Внешне — в смысле цвета кожи и худобы, мы были, несомненно, близки к идеалу.

Но, вот, запах пшенной каши с салом коварным диссонансом, непрошенно-нежданно вторгся в гармонию нашей, питавшейся, главным образом, высокими переживаниями, души. Запах этот становился все сильнее и скоро все ароматы ночи пахли салом и странным образом вызывали не отвращение, а реакцию точно, как у Павловской собаки с Экковским свищом, о которой мы незадолго перед тем читали: обильное слюнотечение и спазмы в животе в придачу.

Покончив с чаем, мы улеглись на травке у костра, и, глотая слюну, готовы были покинуть этот мир соблазнов и искушений, как услышали голос лоцмана:

— Присаживайтесь, панычи, и вы, Наум, и покушайте нашей каши. То моя вина, что не купили, чего поесть. Да вряд бы и достали што. Тут и на вашу долю сварено.

Перед нами был, основательных размеров, чугунный "казан", до половины полный каши, и четыре деревянных красных ложки в нем. Наум ка-

ши с салом есть не пожелал. От каши шла эманация тепла и чего-то вроде совсем нами забытого домашнего уюта, эманация, от которой с непривычки стало даже как-то "сумно" на душе.

Впервые, за время путешествия, мы прикасались к горячей пище. Первым ощущением нашим было все же сожаление, что "казан" не полон, и что мы, наверное, не будем сыты. Но после нескольких быстро проглоченных ложек, темп еды замедлился.

В "казане" как будто и каши немного поубавилось, а мы не могли больше есть.

— Вот и оспаривайте после этого утверждение Шопенгауера, что радость только в ожидании, — меланхолически заметил Федя.

— Как же несчастны должны быть люди, у которых нет аппетита или которые не знают голода... — глубоко вздохнул Вася.

— В философском смысле голодный несомненно счастливее сытого — он строит все на будущем, — решительно заявил Лева, снова принимаясь за кашу. Сделав два глотка, он поперхнулся и со вздохом отложил ложку в сторону.

"Проверить эту теорию совсем нетрудно, — подумал я, — стоит только спросить о самочувствии Наума", — но ничего не сказал.

Пока мы ели, лоцман с внучатами гуляли по берегу.

— Ну, как, панычи, найилысь, понравилась вам каша? — вернувшись спросил лоцман. — Э, да вы совсим малость-то и ели. Так есть будете, отощаете и, як вернетесь, мамка серчать буде. Ну, утречком проснетесь и доедите. Мы вам оставим.

— Спасибо, Опанас Петрович, каша хороша и мы по горло сыты, — отвечали мы хором.

— А вот, панычи, хлопцы мои спрашивают: який то трепак вы представляли, як с дуба на берег сошли? Будто и не русский?

— Это танец краснокожих индейцев, которые живут далеко в Америке, — после минутного замешательства вынуждены были мы соврать.

— Оно и видать, — обращаясь к внучатам, заметил лоцман, — и без присядки. Куда им до нашего гопака!

Подбросили хвороста в костер и скоро весь экипаж — семеро сытых и один голодный — но счастливый, по уверению Феди, спали крепким сном.

Проснулись мы поздно. День уже был в разгаре. Под глухой рокот Днепра, к которому мы так привыкли, спалось крепко.

На костре приветливо булькал наш кормилец чайник, а неподалеку от него покоился на рдевших еще угольках "казан" пузатый.

Хотя и кандидаты в иоги, мы все же прежде всего с неумытым рылом заглянули в котелок.

При виде каши почтенной глубины, излучавшей все тот же, как выразился Вася, приятный запах sui generis, мы наскоро умылись и, забывши о комплексах, опорожнили в короткий срок содержимое казана. Запили чаем и вслед за этим, действительно, почувствовали какой-то особый подъем, прилив физических и даже духовных сил.

— Русскому человеку каша с салом, что волосы Самсону, — глубокомысленно изрек Вася.

"К сожалению каша эта не наша", — заметил со вздохом Федя: — "и вовсе не к лицу нам объедать лоцмана и внуков"...

С котелком и чайником в руках мы направи-

лись к кораблю, где орудовали спозаранку лоцман и Наум.

— Принесли вам казанок, Опанас Петрович, и, как видите, пустой. Спасибо за угощение, — приветствовали мы лоцмана.

— Добре, панычи. А вы здорово заспались и не бачили плотов, якы тут проходили. Их много було. Да у порога вы их побачите еще; они медленно плывут. А теперь лезьте на баржу, панычи. Пора отчаливать!

XV.

Снова мы сидим на крыше будки и обозреваем волнующийся Днепр и пустынные крутые берега. Корабль наш подтянутый, окрепший, бежит рысцой и послушно огибает повсюду разбросанные камни на пути.

— Каков же следующий порог и скоро ли мы подойдем к нему? — спрашиваем мы лоцмана.

— Я вам казав уже, панычи, що у Дида-Разбойника паучьи лапы, а теперь вы сами бачите, якы воны длинны. От Ненасытца до Волнигского порога верст буде с четырнадцать и во всю ту длину те лапы вин и каже. Тилько нема уже той силы в них. Во всю цю дорогу, панычи, лоцману ни на минутку ни задремать тебе, ни отлучиться.

Перво-наперво, куда ни глянешь, камни и тилько и работы, что обходи, да поворачивай. Версту-другую еще пройдем и начинаются заборы — их тут не одна, не две, и есть такие, що погорше и порога. А там еще и сам порог Волнигский. Лоцмана называют его "Внуком" — потому, откуда ж такому уродиться, як не от "Дида". Не наче, як то когти от дидовских паучьих лап.

Вин побольше усих других порогов и поменьше тилько Ненасытца! Там шесть лав и камней без счету и здорово несет. Зато там нема пекла, бо те лавы не так уже дуже разные и ростом не велыки. Замисто пекла есть там, одначе, камень и имя ему “Гроза” и за этим самым камнем “Внук” и схоронився и тянет силою. Плотам тут дуже трудно. Не угадаешь малость, на камень бросит и нет тебе спасенья. Года не проходит, чтоб об цей камень не разбивалися плоты.

Поднялся ветер. Небо покрылось тучами. Исчезло солнце, скрылось из глаз.

Стемнело вдруг.

Воздух как-то погустел; запахло зеленью, водой. Заволновался Днепр. Вода покрылась черной пеленой, и белоснежные барашки на гребнях черноземеных волн то уходили, спасаясь вглубь, то появлялись вновь.

— Забора блызко, пройдем ее мы под грозою, панычи, — глухо прозвучал голос лоцмана.

Исполинской огненной змее подобная, извилистая молния расколола низко нависший небосвод; вслед за молнией раздался страшный треск и полилась теплыми струями вода. Молнии вспыхивали с такой частотой и огненными языками спускались так низко, что гребни волн светились.

Забора перед нами “в грозе и буре”. И кажется, что стена воды нам преграждает путь, — струящаяся и вся в движении. Сплошным потоком источают воду небеса; волны одна другой сильней и выше, сливаясь со стеной, светящимися гребнями касаются почти небес. Гонимый и волной и ветром, корабль наш галопом приближается к стене.

Теперь мы видим, что стена эта не сплошная: в ней есть окно или дверь, затянутая лишь дождевой завесой, и в эту дверь, отпрянувши от каменной гряды, занимающей большую часть русла, и устремляются кипящие, пенистые воды. С ним под непрерывные раскаты грома и блеск молний наш корабль, клюнувши носом глубоко раз-другой и вслед за этим задирая его высоко вверх, дрожа всем телом, несется мимо скал, водоворотов и, вдруг, выходит на тихую, широкую дорогу.

Промокшие не до нитки, а прямо до костей, мы, в восторге от зрелища, готовы были снова изобразить индейский танец.

— Ото гарно, панычи, — говорит лоцман, с которого течет, как с водяного, вылезшего из воды, — а што мокрые, то ничего. Сейчас выйде солнышко и просохнем.

Дождь так же внезапно прекратился, как и начался. Показалось солнце и скоро о дожде забыли.

Версты две прошли и снова мы приближаемся к заборе. Ее мы проходим без труда и без особых впечатлений. За ней следуют еще две заборы, из коих одна и ревет и крутит, как маленький порог, но после Ненасытца заборы, даже и опасные, уже по их малой протяженности нам не импонируют никак.

Зато наш бедный лоцман видимо устал. Рубашка его липнет к телу, не от дождя — от пота. Дрожат руки. По посиневшему лицу струится пот.

И мы ждем причала, обычно он неподалеку от порога.

Не просохшие, как следует, усталые от впечат-

лений, а главное, голодные, так как с утра ничего не ели, а день уж близился к концу, мы ждем не дождемся момента, когда на берегу сможем развести костер, обсохнуть и поесть.

— Скоро ли? — все спрашиваем мы лоцмана.

— Теперь уж недалече. А вот плоты, што на рассвете Ненасытец перешли, всю реку загородили.

XVI.

Неподалеку впереди длинный ряд плотов на якоре качается на волнах. Составленные из огромных толстых бревен, скрепленных "скрутнями", венками из десятка ивовых прутьев, сплетенных вместе, просмоленных и крепнущих еще от разбухания в воде, — прочнее стальных цепей — здесь, на этой коварной, безжалостной стихии, они кажутся немногим надежнее нашего самодельного, скрепленного веревками, корабля.

Распорядки на плотах, весь уклад жизни плотовской команды нам хорошо знакомы. На речной глади у нашей планеты плоты были неизменным аттрибутом. Месяцами они стояли там на якорях в ожидании покупателя. Команда плотов состояла исключительно из белоруссов. У нас почему-то их называли литвинами.

Беззащитные и полураздетые, босиком или в лаптях, в рубашке и штанах из бязи — весь гардероб, — за грошевую плату гнали они плоты из-под Смоленска до Херсона вниз и рисковали жизнью, проходя пороги. Продовольствие им выдавалось при отплытии сразу на весь сезон, на несколько месяцев — и состояло исключительно

из хлеба, сала и пшена. От сырости хлеб быстро покрывался плесенью, зеленым налетом **Penicillium notatum**, к сожалению, не делавшей хлеб более съедобным и еще менее лечебным; пшено протухало и жалобам, но что удивительно, преимущественно в небесные инстанции, не было конца. Дизентерия и цынга не переводились на плотах, холера там находила свои первые жертвы.

Не мало времени мы проводили на плотах. Плоты были нашим излюбленным трамплином при купании, откуда мы бросались в объятия Днепра, почти еще не умея плавать.

Без счету были вечера, которые мы проводили с командой у костра, где варилась все та же пшенная каша с салом, и ели вместе с ним из котла, закусывая заплесневевшим "пенисилинным" хлебом. Нас было четверо молодых зубастых ртов — и с какой радостью встречали нас!

В дождь все забирались в "хозяйщину". Это — деревянный домик, поставленный посреди плота, где живет доверенный хозяина, сопровождающий плоты.

Каких только рассказов мы не наслушались в "хозяйщине", когда вся команда была в сборе, или же темной ночью у костра.

Помню хорошо, что рассказы были всегда страшные, как и песни, мотивом и словами беднее украинских или великорусских, от которых сжималось сердце жалостью и страхом. Во всем этом эпосе первую и роковую роль играла всегда луна. Убедительнейшие советы рассказчиков нам, детям, никогда не всматриваться в луну, не позволять проникать лунному свету в комнату, так как от луны идут все напасти—болезни, не-

удачи, — производили такое впечатление, что кое-что от него сохранилось на всю жизнь.

Мы подплываем к плотам ближе, обходим их. Здороваемся с повсюду снующими "литвинами" — они, как и мы, перед порогом просматривают, скрепляют, готовятся — и кричим им приветствие, на которое они обычно отвечали руганью. Настоящего смысла этой фразы, мы, собственно, никогда не понимали. Поняли только тогда, когда увидали собственными глазами плот, идущий на неравный бой с порогом.

— Эй, — кричим мы, — ребята, дзержи на бабайку, а не то пропадзем.

— И ты дзержи, — беззлобно отвечают они, — спасать тебя здесь некому.

Бабайка, это — огромнейшее правильное и единственное весло на плоту, управляющее его движением.

Мы находим удобное место для причала и пристаем к берегу. Снова идет дождь — мелкий, частый. Небо все затянуто. Ветра нет.

— Оце лыхо, — говорит лоцман, всматриваясь в небо: — "дождь то видать на всю ночь".

Сойти на берег невозможно. Мы еще и от утренней поливки, как следует не просохли.

Лоцман с внучатами забираются под душегубки, мы лезем в нашу конуру и ждем... Запах каши застрял, видно, где-то в недрах легкого и не дает покоя. Все терпят и молчат, и это молчание вдохновляет Федю, как обычно, на резонерство.

— Известно, — рассуждает Федя, как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь, — что факиры натренированные могут ходить голые в сорокаградусный мороз, нисколько не страдая, при од-

ном условии, — никогда не подходить к огню. И мы после двухдневной голодовки близки были к состоянию, когда могли уж обходиться почти совсем без пищи. И вот, каша скомпрометировала наш иммунитет и теперь мы жертвы нашего падения.

При этих словах мы все испускаем глубокий вздох.

Действительно, — до каши, мы, питаясь одним хлебом, нисколько не страдали. Прочувственный голос Васи нарушает долго длившееся молчание:

— В данном случае, очевидно, каша походила не на волосы Самсона, а скорее на известную чечевичную похлебку.

— Какой ужас! — бьет себя в грудь Лева: — а я ел эту коварную похлебку и был уверен, что ем кашу.

Медленно текут минуты... Запах каши постепенно улетучивается. Чувство голода как будто притупляется и мы погружаемся в питательный глубокий сон. Так спят лишь чистые душой, т. е. дети и взрослые с желудками... пустыми.

Разбудил нас голос лоцмана:

— Вставайте, панычи, а то проспите и не побачите, як плоты будут брать порог.

Мы вылезаем из нашей темной, но такой теплой норы и окунаемся как будто в ледяную воду: нас обдает холодный предрассветный воздух и мы дрожим, как щенята, оторванные от материнского тепла.

Восток, весь в пламени, встречает поднимающегося "царя природы". Небо прозрачно голубое; над Днепром клубится пар, издалека слышен неопределенный гул.

На берегу горит костер, а на кострѣ стоит казан. Воздух утра бодрящий, чистый, но к нему примешивается тонкий, едва ощутимый запах каши и этого достаточно, чтобы снова у нас потекли слюни и заныло в брюхе.

Туалет наш недолго длится. Уже почти неделя, как мы не раздевались. Через несколько минут мы сидим вокруг костра и, не спеша, строго синхронизируя движения наших ложек с ложками хозяев, ритмично, как молотобойцы, кующие раскаленный брус, погружаем их в казан и глотаем кашу. Неподалеку Наум, худой и весь заросший, с жестянкой на коленях, дуя и обжигаясь, с жадностью уплетает, круто посоленную, не заправленную салом, кашу.

Слышны лишь вздохи и стук ложек.

Постепенно прибывают силы, светлеет дух и на лбу выступает испарина, больше, правда, от усилия проявить максимум корректности в отношении ритма движения ложек и количества зачерпываемой каши.

Лоцман кладет ложку; то же делаем и мы.

На наши выражения благодарности лоцман только отмахивается.

— На порогах, панычи, — смеется он, — все есть, што чоловику треба: поисты, и попити, и на себя одеть, да тилько все это под водою спрятано и треба слово такое знать, штоб до добра того добраться. Не наче, как Наум на слово то и понадеялся, што в поход без харчей собрался. Да не вышло.

Бедный Наум, голодавший больше нашего, молчал и лишь растерянно улыбался.

На плотах большое оживление: команда, вид-

но, закончила приготовления и готовится к отплытию.

— Залезайте, панычи, пора отчаливать, — зовет нас лоцман, — сейчас плоты будут якорь выбирать. Им первым проходить порог.

Снимаются с якоря плоты. Волны плещутся у хрупкого настила и, играя, переваливаются через края бревен. Подталкиваемые течением и подхлестываемые волной, неуверенно вихляя, то погружаясь, то всплывая, начинают они свое движение. Наш корабль, держась ближе к берегу, равняется по головному и, не отрываясь, следует за ними. Рев становится все слышнее. Порог — близко. Все наше внимание поглощено теперь тем, что творится на плотах.

Из хозяйщины, не спеша, выходит среднего роста коренастый человек и взбирается на возвышение впереди "хозяйщины". Он в новой синей свитке, сапогах. На красном обветренном лице рыжие свисающие усы. На голове низко надвинутый картуз. Он обнажает голову и молится: крестится, кладет поклоны.

Помолившись, надевает он картуз, закладывает руки в длинные рукава свитки, скрещивает и прижимает их к груди. Это лоцман. Он стоит, не двигаясь, как изваяние. Впереди команда облепила свободную часть громадного правильного весла-бабайки. Не менее десяти человек с одной стороны и десяти с другой впились в нее руками и держат высоко над водой, также, как наши гребцы держат весла перед порогом. Рев порога все слышнее. Плоты резко ускоряют ход. Наш лоцман, вдруг, круто поворачивает и мы подходим к берегу.

Порог перед нами — кипящий, бескрайный, страшный. Он немногим меньше Ненасытца, но грандиознее всех других порогов.

Стоя на крыше будки, с затаенным дыханием, забывши о себе, следим мы за движением плотов. Один только раз доходит до наших ушей голос лоцмана, покрывающий рев Днепра:

— Правенькая, — тотчас же двадцать человек наваливаются на бабайку, погружают ее в воду и плот меняет направление. А дальше плота не видно: он под пенистой водой. Но над ревущей, клокочущей стихией, то скрываясь в фонтане брызг, то снова появляясь, неизменно, насколько видит глаз, возвышается повелительная и, как скала порога, неподвижная фигура лоцмана.

— Ну, дай им Боже, — возвращает нас к действительности голос лоцмана, не отрываясь следившего за движением плотов. "Грозу" прошли плоты, так и с порогом справились. Пора и нам в дорогу собираться.

XVII.

Прождавши некоторое время, отчаливаем и мы. Корабль наш, подхваченный течением, сразу набирает ход.

Увертюра к "порожистой симфонии", столь нам хорошо знакомая, не заставляет себя ждать: недовольный гул Днепра постепенно переходит в грозный рев, удары в днища лодок почти такой же силы, как перед Ненасытцем, становятся все чаще, все сильнее; смещающиеся душегубки жалобно скрипят; корабль содрогается, дрожит и, наконец, как заключительный аккорд, короткая

команда лоцмана: “молись!” При этом слове сердце всякий раз, как от условного рефлекса, как-то странно не то сладко, не то болезненно екает в груди.

А дальше под рев, плач и стоны наш корабль, среди неистово бушующей стихии, привычным взмахом взбирается на гребни волн и с ними низвергается в пучину с тем, чтобы с новою волной взлететь и снова погрузиться. Крики лоцмана, покрывающие рев Днепра: “Левенькая, Правенькая!” Удар весла, резкий поворот и мы обходим гряды камней, зияющие бездны.

“Гроза” — движением головы указывает лоцман.

Впереди, высоко над водой, огромная скала, утес блестящий, головой своей нависший над порогом.

Вокруг него ряды остро отточенных меньших скал и кажется, что перед нами широко разинутая, в любой момент готовая сомкнуться, пасть. Тяжелые валы с серебристо-пенистым хребтом накатываются грозной лавиной, вздымаются до самой головы утеса, клокочут, пенятся в широкой пасти и распыляются вокруг фонтаном струй и брызг. Под этим камнем поджидает свои жертвы “Дидов Внук”.

Команда “Правенькая” теперь звучит, не прекращаясь. Гребец изо всей силы налегает на весло. Корабль наш, испытанный в порогах ветеран, летит, как птица, спасаясь от погони, мимо предательской скалы, подальше от пучин, водоворотов — еще несколько скачков и мы, — в который раз, — на тихой глади.

Лоцман вытирает потный лоб. Рубашка на нем

липнет к телу. Затекли руки, не слушаются пальцы; он двигает руками, разминает пальцы. Лицо его усталое, в морщинах, сияет, однако, довольством, добротой.

— Вот и Волнигский одолели, и "Внуку" неудача. Задаром вин под "Грозою" схоронився, да на себя тянув: ни нашим дубом, ни плотами не разжився. А ваш приятель, што на берегу, так разорявся: "посудина, посудина". Нехай посудина, а тилько та посудина Диду с Внуком дули надавала, а сама целехонька. Одначе, панычи, поговорка така есть: "не кажи гоп, пока не перескочишь". Тут блызехонько, версты три не боле от Волнигского, еще порог знайходится. Название ему Будил. Може якый лоцман на радостях, что Ненасытец и Волнигский одолел, дремать зачнет, так Будил разбудит — с ним не заснешь. Порог этот не маленький и быстрый, малость только поменьше Старокайдацкого. Немало лоцманов и тут жизнь свою скончали. А за Будилом буде Лишний, маленький порог. До него далече: от Будила верст шестнадцать. Як Будил пройдем, так и загуляем...

Рассеянно слушали мы лоцмана. Мы все еще находились под впечатлением картины прохождения плотов через порог.

Фигура лоцмана на полузатопленном плоту стояла, как живая, перед нами. Мы не могли ее забыть. Теперь наша "посудина", по сравнению с плотами, казалась нам надежнейшим оплотом, почти что океанским кораблем. И воспоминание о том, как, испугавшись Ненасытца, мы вознамерились бежать, покинуть Опанаса Петровича в опасности, невольно ожило в сознании.

Как обычно, Федя не преминул воспользоваться случаем, чтобы оформить наши переживания и вывести необходимую мораль.

— Мы, конечно, — начал он издалека, — не можем согласиться с Шопенгауэром, что видимый мир есть не что иное, как представление. Зато истинная правда его утверждение, что мир, т. е. жизнь, существование — это воля. Вне воли нету жизни. Люди без воли это живые мертвецы. Пример тому и доказательство у нас перед глазами. Что собою представляет плот? Кучку связанных руками бревен . Разрушить, однако, эту кучку, оказалось непосильным ни Диду на Ненасытце, ни его Внуку. Почему? Не из-за крепости сооружения, а единственно по воле человека — по воле лоцмана. И не в уменьи здесь секрет, а в воле. Сейчас, вступая в жизнь, мы должны это твердо знать и считать своей первой задачей — укрепление воли.

— Заключение бесспорное, — перебивая друг друга, набросились мы все на Федю, — напрасно только ты не поделился с нами своим открытием до того, как мы по твоему совету решили бежать с корабля и, уподобившись зевакам, наслаждаться видом Ненасытца с берега, предоставив лоцмана и мальчишек-внуков своей судьбе.

— Совет мой, — оправдывался Федя, — не трусостью был продиктован, а именно желанием борьбы с рутиной, но, каюсь, я упустил из виду, что товарищей, даже и случайных, нельзя покидать в беде.

— Логика — это опасная наука, — иронически заметил Вася.

— "Наше решение стать мужами, — тоном глу-

бокого раздумья, начал Лева — обязывает нас принимать решения, как бы они ни были неприятны, всякий раз, когда необходимость в решении представится, как это практикуется у самураев в Японии. Такая необходимость сейчас налицо. Я предлагаю, — и тут он повысил голос, — я предлагаю не злоупотреблять больше добротою лоцмана и отказаться окончательно от каши, хотя бы... это стоило нам жизни".

Лоцман, дремавший с полузакрытыми глазами, в этот момент открыл их широко, улыбнулся в свой длинный ус и снова, видимо, предался дремоте.

— Поддерживаю предложение Левы, — заявил Федя, — но только думаю, что если в дальнейшем мы решим следовать философии самураев, то Леве придется срезать свои кудри и забыть о иогах.

— Послушайте, ребята, — ударил кулаком по крыше будки Вася. (Лоцман вздрогнул, огляделся. "А я уж испугався, що Будил проспал", заметил он, смеясь). — Воля — ключ к жизни. Это несомненно! Мы не захватили с собою удочек, но я из проволоки сделаю крючок, насажу хлеб или кашу и вы увидите, что рыба клюнет у меня. Нет, с голоду мы не умрем, и если не потонем, мир о нас еще услышит.

— Наговорились, панычи, — зашевелился лоцман. — Ну и ученость и где тилько воно берется. А сейчас геть с дороги, сядайте по местам — порог близко.

Дискуссия так захватила нас, что мы и не заметили, как приблизились к порогу, откуда неслись и рев и стоны.

Разместившись на крыше будки, одушевлен-

ные принятым решением, мы теперь не с любопытством, смешанным со страхом, а со спокойствием и уверенностью готовы были встретить любое испытание, какое нам готовить мог порог. Зато наш корабль, в дискуссии не участвовавший и не связанный принятым решением, ничего не ведая о самураях, проявляет все обычные и нам столь хорошо знакомые признаки нервозности и беспокойства перед порогом. Команда "молись", кладет всем этим терзаниям предел.

Перед нами, сливаясь с небом, залитый солнцем, как в золотой короне, во всем своем величии и красе, Будиловский порог; и, захваченный несущимся потоком, корабль наш из чистилища попадает прямо в кипящий, вертящийся карусель.

Снова мы в вихре брызг и пены среди бушующей, беснующейся и пляшущей стихии. Но удивительно, не с тайным ужасом, как прежде, а с дерзким вызовом глядим мы на тяжелые валы, с размаха ударяющие в скалы, группами и в одиночку повсюду выступающие своими остроконечными блестящими на солнце головами. Они отскакивают, бьют по кораблю, по душегубкам и отраженные — в своем движении вперед и вспять — кружатся, пенятся, ревут и воют.

— Плевать! — кричим мы, — мы и не то видали.

Неведомая сила без устали, из самой глубины, вздымает вал за валом, а наш корабль, как призрак, скользит по пенистому полю невидимой дорогой, не оставляя за собой следа...

Опанас Петрович медленно опускается на скамью кормы, разминает пальцы. Он улыбается во все лицо.

— Спасибо, — кричим мы, — Опанас Петрович, славно покатали. Не то, что на Лохани: там все ухабы, как на непроезженной дороге, а тут гладко, как по мостовой. Только жалко, что коротко, еще бы малость..

— Ну и панычи, — смеется лоцман, — як напоследок расхрабрились: то плакать собирались, а тут понравилось. Еще давай.

— С плачем кончено, — перекрикиваем мы друг друга. Как плоты в пороге увидали, так слезы высохли. Не боимся мы порогов.

— Оце добре. Я уж примечаю, вы панычи смелые и дуже все ученые, а ваш чернявый, Федей его зовете, тому хочь в архиреи. А тилько на порогах своя наука и смелостью одной тут не пройдешь. Сейчас нам вроде отдых — шестнадцать верст. Да тилько и здесь забора на заборе. Оце, попробуй, не догляди и хаты своей вовек не побачишь. А за заборами порог "Лишний", порог нетрудный, да и невеликий. За ним версты четыре дале буде "Вильный", порог опасный. Он побольше Волнигского, Дидова Внука, тай быстрый, несет там здорово, а посередке еще и два острова каменных стоят и проход как раз промежду ними. Проход тот дуже тесный, — "Волчьим горлом" прозывается, а за "горлом" еще и перепад. Хочь и не пекло, а тоже яма и, як кине, так и старайся, вылезай.

Тут лоцман замолчал, провел рукою по усам и тяжело вздохнул. Вспомнил Ненасытец.

— Восемь верст пройдем и тут другое лыхо, — продолжал он: — на этом мисти Днипр крутоповертае вправо и проход на повороте дуже тесный, еще теснейше, як на "волчьем горле", а еще

по обе стороны, и справа и слева, велыки камни понаставлены. Направо там каменья — “Разбойники” зовутся, — их опасайся, от них на повороте бери подале; налево весь берег — одын камень. От “Разбойников” як отойдешь, несет налево опять таки на камни, значит, а дорога одна и есть, што посередке, да не легко ее держать. Проход тут “Школой” прозывается. Да тилько “школа” та не для ребят... Тут вот, панычи, порогам и конец. “Школу” пройдем и не потонем — пороги, значит, одолели.

XVIII.

Безотчетная, немая грусть стесняет на минутку грудь: неужели наше путешествие, с которым связывалось столько ожиданий, близится к концу?

— Жалко, Опанас Петрович, очень жалко с порогами так скоро расставаться. Мы только что во вкус вошли, а пороги уж кончаются. И с вами, Опанас Петрович, расставаться жалко.

— А и расставаться, панычи, так не на век же, — улыбается лоцман и лицо его при этом светится. — Та мы же с вами земляки. В городе я, хочь и не частый гость, а як знакомые подкинут — вы мне улицу скажите, — так я и к вам наведаюсь.

— Приходите обязательно. Мы вас будем ждать. Мы все живем почти что на одном дворе и будем вам очень, очень рады.

— Беспременно наведаюсь. Да тилько, панычи, рано нам еще прощаться. Сперва “Волчье горло”, да “Школу” пройти треба, а одолеем, так все едино вам треба дале плыть: тут дорог, штоб домой вертаться, нету. Со “Школы”, панычи, — кам-

ням конец, Днепр такой, як до порогов: тихий, гладкий; ни камней тебе, ни быстрины. Тилько с этих мист нема и широкого Днепра. Тут берег с берегом все ближе сходятся, а у Кичкаса от берега до берега — рукой подать. Зато там глубина страшенная: сажень сто пятьдесят буде. А Кичкас, панычи, знатное село. Там немцы на земле сидять. Воны, колбасники, народ богатый. Там и поисты купить можно. За гроши все достанете.

— А далеко ли до Кичкаса?

Последние слова лоцмана напомнили нам о положении нашего интендантства: из провианта оставался у нас лишь пересохший хлеб, да немного сахару и чаю. Вспомнили мы также и о нашем решении насчет каши.

— Завтра к вечеру, дай Бог, добраться — отвечает лоцман.

— Значит, рыбку наловить успеем, — многозначительно, глядя на Васю, замечает Лева.

— Рыбку? — удивленно спрашивает лоцман. — Рыбка здесь водится, да чем ловить?

— У Васи, — объясняет Лева, — с рыбами уговор есть: как в них нужда большая явится, так он покличет и они представятся.

— А вы не смейтесь, — не то с серьезной, не то с шутливой укоризной заявляет лоцман: — и то бувае. На всяко дило свое слово есть.

Вася с молотком в руке задумчиво шагает по кораблю в поисках matières premières для удочки. Он нашел кусочек проволоки и мастерит крючок; "шпагат", которым были подвязаны штаны гребца Петруся, служат лесой; две завалявшиеся пробки от "монопольки" — поплавком. Теперь лишь дело за удилищем.

— Як мисто доброе найдем, где очерету ма-

ло, — говорит лоцман, внимательно следивший за работой Васи, — так и пристанем к берегу. Там и лозу найдем для удочки, а с дуба и удить с руки, тут и близ берега тлыбоко.

Проходим шумную забору и поворачиваем к берегу. Внучата разводят на берегу костер и принимаются за варку каши. Лоцман долго ищет и, наконец, находит подходящую лозу и приносит ее Васе. В жестянке на скамье кормы — остатки каши и кусочек хлеба: другого угощения рыбам мы предложить не можем.

Вася в своей сфере. Он аккуратно насаживает на крючок кусочек корочки от каши и широким жестом далеко забрасывает в реку лесу от Петрусиных штанов.

— У меня на языке: "при таком крючке следует предупредит рыб, чтобы они пошире раскрывали рот", но я молчу, так как чувствую, что столь банальная острота не у места в такой ответственный момент.

Мы сидим на будке и гипнотизируем поплавок. Наум с иронической улыбкой смотрит в сторону. Молчание. Известно, что пустые разговоры не по нутру рыбам, а, значит, еще в большей мере рыбакам. Поплавок не то сам нервничает, не то просто испытывает наше терпение: он то подпрыгивает, то погружается. При погружении мы быстро переносим взгляд на Васину руку, не подсекает ли она? Каша имеет, повидимому, у рыб большой успех: съедают ли ее рыбы, смывает ли течение, но насадку приходится то и дело возобновлять.

Молниеносное движение в сторону Васиной руки и... о, чудное мгновенье: сверкнув на солнце

серебристой чешуей и описав искристкую дугу, живая, трепещущая рыбка ложится у наших ног.

Деловито хватает ее Вася, снимает с крючка и, не глядя, тычет в наши руки. Никто из нас не шевелится: появление новорожденной так неожиданно и невероятно, что мы, как говорится, не верим собственным глазам.

Зато Наума, как ветром, с места сдуло. Он подскакивает к Васе, хватает рыбку. С лица его сошла улыбка Савла, теперь ее сменило что-то похожее на маску каннибала: кажется, что он сейчас живьем проглотит рыбку. Но он, бережно прижимая ее к груди, бегом несется к носу дуба, шарит в углублении и возвращается с большой жестянкой, полной воды, куда и опускает рыбку.

Вася со сосредоточенным спокойствием, являющимся, повидимому, неотъемлемой особенностью настоящих рыбаков, молча продолжает свой интимный разговор с рыбами. А они доверчиво через короткие промежутки аккуратно являются на Васин зов, трепещущие попадают в руки Наума, бурно протестуют и успокаиваются в миске с водой.

Шустрый окунек, уже не первой молодости, судя по величине, с лету перехваченный Наумом, видит свою ошибку, пытается ее поправить и, отчаявшись, наотмашь бьет хвостом Наума по лицу.

Лоцман, наблюдавший эту сцену с берега, подходит к дубу и тихо говорит Науму, показывая на щеку:

— Ото тоби, Наум, наука. Рыба чуе, што ты уху варить собрався, а картошки не напас. Яка же це уха без картошки? Рыбе и обидно.

Науму не до шуток. У него нет времени вы-

тереть щеку. Как лягаш на стойке, он напряженно ждет момента, когда появится очередная жертва. В миске плещется уже с десяток рыб. Клев замедлился. Надо кончать.

Время идет, лоцман с внучатами уже принялись за кашу. Вася свертывает удочку и мы спускаемся на берег. Наум с помощью Васи быстро чистит и разделывает рыбу. Мы подкладываем дерево в костер, подвешиваем котелок с водой и все усаживаемся вокруг костра.

Знойный воздух полон звуков. Тихо потрескивают сухие прутья на огне; звенят, кружащиеся вокруг костра, тучи комаров, стрекочут кузнечики, перекликаются лягушки, а рядом постукивают ложки, то о казан с кашей, то о зубы едоков. Хлюпанье и вздохи. Пахнет камышем, травой.

Голод подавляет интеллект, но зато резко, повидимому, обостряет чувства. Ясно ощущается, как тяжелый запах каши с салом стелется туманом и, столкнувшись с поднимающимся из миски пронзительным рыбьим ароматом, обволакивает все вокруг.

Вася ложится, согнувши колени, на траву, смотрит в небо и вдруг, очевидно с голоду, впервые за все время путешествия, впадает в вегетерианский транс.

— Несправедливо это, очень несправедливо, — рассуждает он, как будто сам с собой: — я люблю рыб, мы как-то друг друга понимаем, и они, повидимому, ко мне симпатию имеют. И, если вдуматься, и они ведь жить хотят. Уж очень доверчиво они идут ко мне, а я их предаю.

Федя возмущен:

— Это слюнтяйство! Я говорил всегда, что природа несовершенна и в мире царит хаос. Но

только человек может превратить этот хаос в гармонию: создать условия, где каждому существу будут обеспечены права. Скоро питание человека будет состоять из двух-трех пилюль, где будет все, что нужно для организма. Тогда никому и в голову не придет покушаться на жизнь твоих рыб. А пока все существа должны приносить жертвы, чтобы дать человеку возможность выполнить эту задачу, точно так же, как и сам человек не щадит себя.

— Это верно, — тяжело вздыхает Лева: — но как быть с голодом? Я думаю все же, голод не первичный фактор и все дело в воспитании. Конечно и ребенок плачет, когда захочет есть, но он уже кормлен и знает вкус еды. А что если бы новорожденному не давать есть, — задумывается Лева, ощутил ли бы он тогда голод, стал бы плакать, требуя еду?

— Ну, вот, — говорит Федя, — у тебя готова и тема для диссертации по окончании университета. Только на ком же ты поставишь этот опыт? Чужих ребят тебе не предоставят. Придется заводить своих, да и то смотри, как бы вместо кафедры не угодить в арестанские роты

— Мне кажется, — замечаю я, — что тема эта была уже использована одним цыганом, который приучал свою лошадь совсем не есть.

— Знаю, знаю, — перебивает меня сердито Лева, — это и не остроумно и неверно: лошадь эта раньше была ведь кормлена.

— Наум, — будит лоцман вздремнувшего лесника, которого, очевидно, усыпили наши речи, — вода кипит, клади рыбу в казанок, тай соли покрепче.

Лоцман пододвигается поближе к нам, хитро крутит свой длинный ус и вкрадчиво говорит:

— Слухаю я ваши разговоры, панычи, и до чего воны ученые — трудно все понять. А тилько слышно, вы все про голод поминаете. Пока уха варится, отгадайте-ка загадку, що я вам загадаю. "Што то значе: чого не було, тай не буде, тилько сгадуют люды"?

Задача эта уводит нас на минуту далеко от голода и от ухи и мы все серьезно углубляемся в размышления. Перебираем в уме всевозможнейшие решения — не подходят. Возможно, что от голода плохо думается, но фактически ничего путного не приходит даже и на ум. Очень смущает нас еще выражение лица внуков. Разгадка им, повидимому, известна и их явно забавляют наши тщетные усилия. Наконец, Федя нерешительно заявляет: "царство небесное". У внуков вырывается крик не то изумления, не то ужаса.

Лоцман бьет себя по коленям:

— Чи вы бачили такое? — растерянно оглядывает он нас: — а я еще паныча в архиреи рядил. Ну и архирей!

Чтобы загладить lapsus Феди, а, главное, чтобы спасти "лицо", особенно перед внуками, я выпаливаю первое, что мне приходит в голову:

— Семь пятниц на одной неделе. У внуков мой ответ имеет исключительный успех: они давятся от смеха.

Лоцман отрицательно качает головой.

— Вы, панычи, к примеру голодные — у вас уха на уме и ничего боле, а есть такие: — за столом сидять, от еды стол валится, а воны кажуть: "мало — чего-сь-то не хватае".

Видя наши недоумевающие лица, он беспо-

мощно разводит руками и говорит: “Птичьего молока им не хватае”.

Надо прикрывать отступление.

— Вот уж, Опанас Петрович, оправдываемся мы, — даже и Иосифу Прекрасному, на что мастер был отгадывать, не пришло бы на ум птичье молоко на голодный желудок.

Лоцман соглашается.

— Ваша правда, панычи, моя вина, что поспешил. Треба було подождать, пока уху поедите, — говорит он подмигивая нам, — да уха-то ваша, — качает он головой: — одно лыхо без картошки.

Уха готова и мы, как нам кажется, “не потерявши лица”, принимаемся с жаром за еду.

Как пересохшая земля впитывает влагу, так расходится по жилочкам горячая, круто посоленная, пахнущая рыбой водица. С непривычки неудобно хлебать жидкость плоской деревянной ложкой, но мы быстро приспособляемся, вспомнив, как едят босяки на нашей планете. Правая рука подносит ко рту ложку; в левой краюха хлеба у подбородка поддерживает ложку. Хлеб здесь заменяет салфетку, впитывает случайную утерю и кратчайшим путем попадает в рот.

Как пиявки, насосавшиеся вдосталь крови, отваливаемся мы от пустого казанка.

— Амброзия, чистейшая амброзия, — шепчет Федя.

— Амброзия, — подтверждаем мы, — слава Васе и Науму.

— Спасибо и рыбкам, — заключает Вася.

— Собирайтесь, панычи — торопит лоцман: — нам еще путь далекий. До вечера треба до Лишнего добраться.

XIX.

Сытые и довольные плывем мы на нашем корабле. Попутный ветерок треплет парус и тревожит широкие здесь и спокойные воды Днепра. По небу бегут тучки и играют с солнышком. Оно не жаркое и ласковое. Тишина и безлюдье. Шестой день мы в пути и, кроме плотов, ни одного суденышка не встретили, ни одного человека не видели. На корабле расположились мы в беспорядке, кто где попало, и благоденствуем. Мысли бороздят мозг, не доходя до сознания. И все же какое-то неопределенное, смутное чувство не то неудовлетворенности, не то сожаления не оставляет нас, томит душу и настраивает на лирический лад.

Лоцман и внуки ждут песен и нашему томлению нужно дать выход. Лева взбирается на крышу будки и лохматит свою шевелюру — набирается вдохновения. Концерт, по установленному обычаю, начинается с "долины ровные". Бравурный припев этой песни вызывает, как обычно, живую реакцию у внуков, как и у дремлющего лоцмана, в полусне двигающего в такт то головой, то ногами. Следует ряд других песен, уже петых нами, и вот Лева неожиданно для нас запевает новую: "Солнце всходит и заходит". После первой же строфы, лоцман пребывавший в полудремоте, широко открывает глаза, внимательно слушает и, по окончании песни, тотчас же забрасывает нас вопросами: "что это за песня? о ком в ней поется"?

Мы уже оценили в достаточной степени интеллигентность нашего лоцмана, несомненного самородка. Но его восприимчивость и исключитель-

ная чувствительность ко всему поэтическому поражает нас и мы стараемся, как можем, удовлетворить его любопытство. Объясняем ему, что появился новый писатель из народа, называет себя Горький и пишет все про несчастных, свихнувшихся, не нашедших себе места в жизни.

— "Горький", — удивленно переспрашивает лоцман: — що ж он по батьке так зовется и батька его Горький?

— Нет, Опанас Петрович, настоящее имя ему другое, мы его не знаем; это он таким именем свои сочинения подписывает.

— Должно вин и сам хлебнув вдосталь лыха, коли Горьким прозывается, — в раздумьи замечает лоцман. Вы же знаете, панычи, так расскажите, що же вин там пише про несчастных?

Лучше всего сохранился в нашей памяти рассказ Горького "Челкаш" и я стал передавать его содержание. Описать в точности и в достаточной степени красочно героя рассказа не представляло для меня труда, так как перед глазами у меня маячил его живой двойник — Алексей-воряга.

Лоцман был в восторге и то и дело прерывал рассказ восклицаниями вроде "от то шелапут" или "ну и разбойник", больше с восхищением, чем с укоризной. Но когда дело дошло до встречи Челкаша с крестьянским парнем, и этот, соблазненный заработком, столь ему необходимым, дает себя увлечь на опасное дело, лоцман замолчал. Не проронив ни слова, лоцман слушал, как вид денег, так легко и быстро добытых воровством, денег, так много значущих для бедного крестьянина и так мало для вора, заставил крестьянина потерять образ человеческий и пойти даже на убийство.

Лоцман долго молчал и со вздохом произнес:

— Бисовы гроши. Вы, панычи, — молодые, вам и неведомо, а поженитесь да хозяйство заведете, так побачите, що це таке — гроши.

В этом момент мы еще не знали, что именно "гроши" и заставили лоцмана принять участие в нашем опасном, а, главное, "нелегальном" путешествии. Но, видно, все же интерес, вызванный рассказом, у лоцмана был достаточно глубок. Неожиданно он обратился к нам с просьбой:

— А нельзя ли, панычи, яку нибудь книжку Горького добыть? Дуже охота самому малость почитать.

Здесь представилась нам возможность "сеять разумное" и мы, конечно, с превеликой готовностью откликнулись.

— Обязательно приготовим вам книжку, Опанас Петрович, и с нетерпением будем ожидать вашего прихода.

— Беспременно наведаюсь, спасибо вам, панычи, — как-то по-детки улыбаясь, благодарил лоцман.

XX.

Отдаленный глухой рокот напомнил нам, что до порога недалеко. Стало вечереть, пошел дождик. Надо было искать места для причала. Берега здесь сплошь поросли у воды тростником и пришлось, чтобы пристать, ввести наш корабль в его самую гущу. Долго не сходили мы на берег; все ожидали, что прекратится дождь. Но небо заволакивало все сильнее, мрак как-то неприязненно сгущался и не оставалось ничего другого, как,

подкрепившись сухим хлебом, отправиться на боковую.

Из всех богов Олимпа Морфей был несомненно самым нашим верным и неизменным покровителем. Лишь головы наши коснулись старых форменных фуражек без гербов, служивших нам теперь подушками, как он тотчас-же унес нас далеко в сферы, где нет ни голода, ни непогоды. Заставили нас вернуться на корабль не без труда голос лоцмана и бесцеремонные встряхивания Наума.

— Проснитесь, панычи, проснитесь, — придушенно будил нас лоцман. А Наум, как змея шипел: "разбойники, разбойники".

Когда мы наконец с трудом пришли в себя и поняли в чем дело, Федя, как всегда, первый нашел соответствующее слово, бывшее у нас у всех, конечно, на устах: "слава Богу, наконец-то!".

Без промедления и, конечно, без расспросов схватил он, лежавший тут же в углу будки, завернутый в бумагу, револьвер, о существовании которого мы, правду говоря, совсем забыли, и мужественно, без всякого волнения, крикнул:

— Где? — и мы повторили в один голос: "Где?"

Сколько их, нас не интересовало...

Тут уж и лоцман зашипел:

— Цыц, панычи, ну хиба ж так можно? Як диты малые...

В этот момент, проснувшись окончательно, несколько сконфуженные, мы стали слушать рассказ лоцмана.

— Задремав я под душегубкой, — тихо говорил лоцман, — и слышу: не наче вода хлюпае, тай очерет хрустить. Прислушался, чи не присни-

лось мне? А не, — слышу голоса: "веревки тилько обрезать, каже один, душегубки и пойдут, а там хлопцы перехватят". А другой каже: "да тут их много, треба еще хлопцев показвать". С тым воны и ушли. Тилько, панычи, Христом Богом прошу, — и в голосе его послышалась совсем необычная тревога, — як пужать будете, палите вверх. Не дай Боже зацепите кого, уж тут лыха с полицией не оберешься.

И Наум, что нас немало удивило, стал просить:

— Стреляйте вверх, стреляйте только вверх. — На что Федя, недоумевающе заметил:

— Наум, кажется, боится полиции больше, чем разбойников.

Так оно, собственно, в этот момент и было...

Мы все собрались у кормы вокруг Феди, державшего револьвер наготове. Попрежнему сыпал мелкий дождик. На небе сплошная черная завеса. Вокруг тьма кромешная. Половина корабля закрыта камышом, ее совсем не видно, как и не видно берега.

— И погодка ж выдалась, — шепчет лоцман, — разбойникам верная пожива.

Стоим, не шевелясь, и всматриваемся. Тишина; ни звуков, ни людей и, вдруг, явственно послышался приглушенный шум шагов и хруст веток.

— Идут... — прошипел Наум. Слышны стали вздохи и сопенье.

— Мабуть, разуваются, — догадался лоцман.

Всплеск воды и шум камыша уже в комментариях не нуждались.

— Лезут! — крикнул Федя и под наши крики: "бей их, разбойников", взвел курок и выстрелил.

И нам показалось, что мир рушится и небо

падает на землю. Вероятно, с сотворения самого не было в этих местах подобного раската. В этот момент прекратился даже дождь и стало проясняться небо. На берегу всплески, топот, крики, как если бы целое стадо слонов обратилось в бегство.

Отчаянный крик прорезал тишину:

— Братцы, тону, ой тону!

— Бей их, разбойников, — кричим мы и Федя выстрелил вторично. Топот ног все дальше и снова тишина. Мы победили, но победа далась как-то слишком быстро и без особенных усилий. И мы ждем еще контр-атаки, абордажа или, вернее всего, бомардировки, т. е., нескольких камней. Но связь с неприятелем окончательно утеряна и постепенно воинственный азарт проходит.

— Напужали здорово, — говорит лоцман, принимаясь за трубку.

У Наума голос дрожит и слышно, как щелкают зубы: — "напужали, — говорит он, — а один утоп, что теперь будет?"

— Не утоп, — успокаивает его лоцман, — с переляку в очерете заплутався, свои и вытащили.

И мы того же мнения и смеемся над страхами Наума.

Светлеет. Небо безоблачно и звезды на местах. От реки тянет предрассветным холодком. Надо досыпать. Бережно уложив револьвер, мы забираемся в конуру и, прижавшись друг к другу, тотчас же снова попадаем в объятия Морфея.

Утро. Потягиваясь и зевая, вылезаем мы из нашей теплой конуры. Солнышко уже над горизонтом и глядится в зеркало воды. Слышны голоса и тянет дымком. Через камыши пробираемся

на берег. Лоцман с внучатами сидят за кашей, наш кормилец-чайник греется на угольках. Осматриваемся. Кругом невысокая трава, кусты. Никаких следов сражения. Наум ищет топливо, слышны его шаги.

— Идите сюда! — кричит он, вдруг: — смотрите, что здесь лежит.

Лоцман с внучатами перестают есть. Мы глядим смущенно друг на друга. У всех одна и та же мысль: Наум нашел бездыханное тело. Бросаемся на голос. Наум бледный, с глазами на выкате, стоит у воды и рукой указывает на прибрежную траву. Подбегаем ближе. В камышах стоит пара новеньких сапог, голенища бутылками.

— От утопшего, — едва слышным хриплым голосом говорит Наум.

Минутная общая растерянность.

Лоцман первый приходит в себя, машет руками и сердито выговаривает Науму:

— Оце ж мини лыхо. Дався же ему утопший! Та мы же чуяли, як вин сопев, як разувався. Чоботы сховать сховав, а знайти не смог. Темнота ж була, хочь глаз выколи.

— Тут утопший не причем, — авторитетно вмешивается Федя. — Настоящих побед не бывает без трофеев. Сапоги это наш трофей. Наум нашел его и он принадлежит ему по праву.

Наум вздрагивает, как ужаленный:

— Нет, нет! не надо, не хочу я!

— Послушайте, ребята, — предлагаю я, — давайте отдадим трофей Петрусю. Своим шпагатом от штанов он нам оказал немалую услугу и справедливо будет вознаградить его.

Все молчат. Возражений нет. Я подымаю сапо-

ги и торжественно вручаю их совершенно обалдевшему от неожиданности Петрусю.

Разрешивши трофейную задачу, направляемся мы все к костру и принимаемся, кто за кашу, а кто за чай с засохшим хлебом

— А не может ли утопший, то есть, живой, но утопленный воображением Наума, вернуться за своими сапогами? — высказываю я вслух мысль, которая внезапно приходит мне на ум. Кусок останавливается в горле у жующих.

— Беспременно вин воротится, да тай еще и не одын, — решительно положивши ложку, заявляет лоцман. — А мы тут расселись, як у своей хате. И то подумать, — как бы пеняя на себя, продолжал он: — За чоботы вин не мене пяти карбованцев платив, шо же вин их так и кине? А, може, воны уже и подглядають? — стал он смотреть по сторонам.

Не прошло и нескольких минут, как победоносная армия, не допивши и не доевши, в ударном порядке, захватив трофей, погрузилась на корабль и поплыла к порогу.

XXI

На корабле все попрежнему. Прибавились лишь сапоги, но они не на виду: Петрусь нашел для них укромное местечко. Рев порога слышен явственно и мы заняли свои обычные места на крыше будки. Кораблик наш, в сражении собственно участия не принимавший, к страхам нашим на суше совершенно равнодушный, у него свои заботы: он чует, близко испытание, и, как всегда перед порогом, храбрится, набирает ход и нервно вздрагивает.

У нас же, как у Фауста, две души сейчас — одна тревожная, полна еще “пальбы тяжелой”, шума, криков; другая — светится, как все вокруг, и излучает тепло, гармонию, покой. Но столь чуждое натурам нашим раздвоение недолго длится. Растущий рев Днепра быстро наводит в груди порядок: у порога мы снова прежние, цельные, бесстрашные борцы. Мы, правда, уже настолько возмужали, что даже команда лоцмана “молись!” не вызывает больше еканья в груди и у порога мы даже не покидаем будки.

Впервые стоя, держась за крышу будки, ввергаемся мы в бушующие, кружащиеся, пенистые волны.

Порог “Лишний” протяженностью не мал, но он самый медлительный из всех порогов; в три раза медленнее несет здесь, чем на Ненасытце, тоже не самом быстром из порогов. И мы вкушаем полностью, захватывающий дыханье, взлет корабля на гребень несущегося вала и, сжимающее сердце, скольжение по хребту волны, и новый взлет. При перемене курса на поворотах с восторгом мы глядим, как валы лавиной обрушиваются на корабль, с размаха ударяют по душегубкам и рассыпаются в бессилии каскадом брызг и струй.

Под рев Днепра, скрипенье, дрожь и стоны корабля, в туче брызг и пыли, минуя все омуты, все рифы, гордые своим бесстрашием, мы выбираемся на чистую дорогу.

— Чудно! — кричим мы в один голос. — И порог этот совсем не лишний. Название ему, действительно, не подходящее. Он симпатичный, добрый, как хотите, только не лишний. Побольше бы таких порогов.

Лоцман смеется и крутит задумчиво свой ус. У всех настроение приподнятое. Сегодня последний день нашего путешествия через пороги. Но не у всех одни и те же мысли. Наум сидит, насупившись, и не то думает, не то считает. Не иначе, как "утопший" все еще не выходит у него из головы.

Мне хочется отвлечь его от мрачных мыслей. Чтобы расшевелить его, я обращаюсь к лоцману:

— Лишний прошли. Обратно, я знаю, нету хода. Жаль, по "Лишнему" вести корабль кажется мне не так уж трудно. Но, вот, "Вильный" порог большой и в начале как будто не опасный. Нельзя ли мне, Опанас Петрович, взять у вас правильное весло и повести корабль хотя бы до — "Волчьего горла"?

Лоцман серьезно отвечает:

— Конешно, можно. Вы, панычи, народ понятливый, а где трудно буде, я вам пособлю. Да тилько я здесь не хозяин. Треба хозяина спросить.

Наум смотрит на меня испытующе и, видя мое серьезное лицо, к общему нашему удовольствию и, особенно, благополучию, отвечает:

— Нет, не согласен. — Смех наш вызывает все же улыбку на его лице и мы довольны.

Утро радостное, светлое. Небо синее синего, прозрачное. Ни облачка на нем. Воздух дышит влажной свежестью, теплом. Кораблик наш бежит, не торопясь, по спокойной тихой глади. Днепр здесь совсем особый — не грозный, да и не тот прославленный "широкий". Оба скалистых берега обрывистых, высоких, поросших кустарником, травою, хорошо видны. Лишь отдаленный глухой рокот напоминает забывчивому моряку, что "тишь да гладь" не вечны в этом месте Днепра и скоро

будет им конец. И ждать, действительно, приходится недолго.

Неизвестно откуда налетает легкий ветерок. Река волнуется, рябится; горизонт, как-будто в легкой мгле. Ход корабля заметно ускоряется. Еще минута-две и, вот, он перед нами огромный, необъятный, кипящий, грозно ревущий порог "Вильный" — по "ученому" — девятый, последний из порогов. Посреди порога, как два гроба, чернеют две каменные громады — два острова.

Мы остаемся сидеть на будке. Нам сразу ясно, что пустое молодечество здесь не у места. Лоцман серьезен; лицо его сурово. Он стоит, расставив ноги, обхватив правильное весло и командует: "молись!". Огромный вал, внезапно поднявшийся из самых недр Днепра, стерегший, повидимому, вход в порог, как скорлупу, подымает на свой гребень наш корабль и бросает наотмашь в клокочущую, кружащуюся вокруг несметного количества камней, пучину. Такого количества камней мы не видали ни на одном пороге. Камни, камни, повсюду торчат их причудливо отточенные шапки. Между валами кажется, что видишь дно, настолько еще и не глубок и столько же опасен этот единственный здесь путь фарватера. От волны к волне, то опускаясь, то взлетая, беспрерывно маневрируя, несемся мы к каменным громадам посреди порога, и ввергаемся в канал меж островами, где, как в котле, кипит и пенится вода.

Чем дальше, тем больше сближаются между собою острова, проход между ними становится все уже, все теснее, и все сильнее бурлит и вертится и пенится вода, и все быстрее несется наш корабль. Стрелою пролетаем мы узкий проход —

“Волчье Горло” — и в конце прохода внезапно — но мы готовы к этому моменту, мы ждем его и крепко держимся за края будки — внезапно проваливаемся в бездну и в тот же миг, от сильного удара в днища лодок, взлетаем вверх и снова погружаемся в бушующие волны и долетаем до тихих вод.

Крик радости и торжества, готовый вырваться у нас: “последний порог пройден!” — замирает на устах при виде лоцмана с встревоженным лицом, указывающего по направлению к берегу.

У Наума снова перекошенное лицо. Мы глядим на берег, куда указывает лоцман, и видим несколько запутавшихся в камышах, прибитых к берегу больших бревен. С недоумением смотрим мы то на лоцмана, то на Наума...

— В “Волчьем Горле” плоты разбило, — глухим, прерывающимся голосом поясняет лоцман. Он обнажает голову и долго молится. Тотчас же то же делают и внуки, в глазах у них испуг.

И мы встаем, смотрим на эти бревна, уцелевшие немые участники разыгравшейся здесь недавно драмы, и снова видим плоты, спокойно и уверенно несущиеся к порогу. Мы видим лоцмана с рыжими висящими усами, неподвижно, как изваяние, стоящего на своем посту, и, крепко скрутнями скованный, настил плотов, у краев которого плещутся, играя, волны.

Эти ли плоты стали жертвой коварного порога, или какой-либо другой, двигавшийся впереди и прохождения которого мы не наблюдали? Мы глубоко переживаем эту катастрофу, так как представляем себе ее воочию, видим все страшные ее

детали и невольно думаем: "От нас бы и щепочки, наверно, не осталось!".

— Жаль, — говорю я, — что нет у нас зеленой веточки или цветочка, чтобы бросить в воду.

Федя бросает свою фуражку реалиста без герба и мы долго следим за тем, как она плывет, пока не скроется в печальных водах...

Хорошо еще, что нам и в голову не приходило, что весть об этом происшествии может докатиться до Екатеринослава, да еще, как обычно, при устной передаче, в неопределенной и сильно преувеличенной форме. Но наше долгое отсутствие заставило уже давно семьи наши усумниться в правдивости и безопасности нашего путешествия "на пороги" и Яков Иваныч, сам полный беспокойства, вынужден был сказать им правду. Он скрыл, конечно, все, что могло их взволновать и уверял, что "экскурсия" обставлена надежно, но слух, что какое-то судно погибло на порогах, дошел до них и причинил им много горя. Яков Иваныч нас позже уверял, что его поддерживала лишь мысль о той казни, которой он подвергнет бедного Наума, если с нами что-либо случится; при условии, конечно, что Наум спасется и явится передать ему последний наш привет.

Едва отошли мы на одну версту от, оставившего столь ужасное воспоминание, порога "Вильного", как, сидевший с поникшей головой, лоцман снова встал и молча стал прилаживать весло. Внуки, оказывается, и вовсе не убирали весел, как они это обычно делали после прохождения порога.

Впереди показалась группа островков, одни — попросту огромные каменные глыбы, другие —

настоящие небольшие островки, поросшие кустарником, разбросанные на сравнительно небольшом пространстве посреди реки. В проходах между островками, там и сям торчат столь хорошо знакомые нам острия подводных скал. Сильное течение, огибая эти острова, то и дело меняет направление и образует здесь ряд маленьких порогов, так что опасность для судна быть брошенным на камень очень велика.

Называются эти острова Пурисовыми, а последний носит особое название Маркусова. К этим островам мы движемся теперь. После порогов прохождение через эти миниатюрные барьеры, напоминающие нам пучину на нашей маленькой планете в Екатеринославе, является для нас незначущей прогулкой, не оставляющей в памяти следа.

XXII.

Мы плывем по тихому, чистому, не спеша текущему Днепру. Как это бывает, когда пережитое еще очень близко, совершенно необычно и впечатление от него исключительно остро, нет как-то уверенности, что все это, действительно, происходило, а не является фантазией, или дурным сном.

И вот, сидим мы, как будто те же, на том же нескладном, веревками скрепленном корабле, как это было семь дней тому назад, когда мы начинали наш поход за золотым руном подвигов и переживаний. Тут-же Наум, такой же молчаливый, как при старте на берегу, когда Яков Иваныч чуть не вытряс из него всю душу, — с таким же озабоченным лицом. На корме лоцман-орел, с поникшей головой и согбенной старостью спиной, и внуки — две розовощеких молчаливых

тени. Все как будто то же, что и семь дней назад. И все же и мы не те же, да и Днепр совсем другой — не прежний и не порожистый, а совсем какой-то новый, нам совершенно незнакомый.

От Маркусова острова русло Днепра совершенно свободно от камней, но горные наслоения не исчезли. Подобно тому, как это было, по словам лоцмана, и в порожистой его части до того, покуда Господь не разгневался на праотца нашего Авраама, хребты эти, Карпатские отроги, тянутся здесь не по руслу, а по берегам. И берега эти, скалистые, крутые, так высоки, что даже весною, при разливе, Днепр не в состоянии их осилить, затопить. Чем дальше мы плывем, тем все больше сдавливают речное русло эти каменистые берега — русло еще недавно бескрайнего могучего Днепра — и, гордому плененному, ему ничего другого не остается, как в себе замкнуться и зарыться вглубь.

У колонии Кичкас, куда нас влекут сейчас и тихое течение и сильный голод, при самом узком русле в этом месте глубина Днепра достигает 130-150 сажен, самая большая глубина на всей его протяженности.

Днепр здесь другой, да и мы не те же. За семь дней нашего путешествия мы пережили не только больше, чем ожидали, но больше, чем могли себе представить. Эти семь дней были для нас настоящей школой жизни, неизгладимой и незабываемой.

Здесь, не с чужих слов, а на деле — с глазу на глаз — мы увидели, почувствовали и поняли всю силу и слабость человека: и величие его дер-

зания, сладость успеха и горечь поражения. На корабль сели мы взрослыми детьми, “не прочь схватить огонь руками”, а вернулись взрослыми мужами, понявшими, что жизнь это борьба, которая “жертв искупительных просит”, и что во всеоружии знания, опыта и воли нужно вступать в эту борьбу. И если говорить о зрелости, то по настоящему, именно на порогах, а не в великом множестве прочитанных нами книг и в дискуссиях по их поводу, как мы раньше считали, мы обрели ее.

Медленно, бесшумно скользит наша “посудина” по тем же самым водам, которые еще не так давно шумным караваном бороздили быстрые казачьи струги в походах за добром турецким. Лишь в верстах десяти отсюда лежит остров Хортица — столица и крепость Запорожья.

Не отрываясь, глядим мы на эти берега, на Днепр. закованный в гранит, и стараемся припомнить все, что учили, а учили мы до смешного мало, и, главное, что читали о славной Сечи.

У лоцмана, повидимому, свои мысли. Молча, он сидит, насупившись, с трубкой в зубах, и рассеянно глядит вперед. Но вот, он вынимает трубку изо рта, сплевывает и говорит:

— Буде, панычи, кручиниться. Теперь уж вы учены, сами знаете и другим поведаете, що пороги не масляничны горки и сроблены воны не для катанья А, вот, и “Школа” блызко. Глядите, як Днепр круто поворачивае вправо.

Мы подплываем к повороту.

Здесь, у самой дуги, природа хитро смастерила настоящие гранитные ворота. Левый берег здесь крутой, высокий, почти отвесный; направо у бе-

рега, такого же крутого, — группа громаднейших камней, выступающих вперед и резко суживающих русло. Это "Разбойники". Корабль наш ввергается в ворота и нужно и лоцману и левому гребцу работать, что есть мочи, чтобы держать корабль подальше от "Разбойников" направо, а, главное, от отвесных скал налево, куда несет его течение. Проход этот опасный и называется он "Школой".

— Каменные ворота позади, — взываю я к несколько угасшему энтузиазму товарищей — последнее препятствие прошли. Нет больше ни малых, ни больших порогов. Нашу гимназическую зрелость мы так отпраздновали, как нам и во сне никогда не снилось. Теперь мы снова на нашем, хоть и здорово после порожистой натуги похудевшем, но все же на нашем родном, всегда к нам милостивом учителе-Днепре.

— Но нужно, чтобы похмелье от этого празднества, — торжественно провозглашает Федя, — продолжалось, как можно дольше. Мы никогда не должны забывать порогов.

— Ни порогов, ни Опанаса Петровича, мы не забудем никогда, — кричим мы, обращаясь к лоцману.

— Спасибо, панычи на добром слове, — и лоцман вытирает сухой мозолистой рукой свои увлажнившиеся глаза.

— Теперь в Кичкас, к немцам! К чорту голодных иогов и сытых самураев. Мы есть хотим — животы так подвело, что штаны не держатся.

— До Кичкаса теперь уже недалече, — успокаивает нас лоцман. — А там накупите, што захотите.

XXIII.

У Кичкаса диковинок так много, что мы не знаем, куда глядеть. От берега до берега, без всякого преувеличения, рукой подать. Ширина Днепра здесь 86 саженей — не веришь собственным глазам и это после многоверстной ширины у Екатеринослава; зато глубина страшная — около 150 саженей. Левый берег скалистый, высокий, нависший над Днепром; правый, где расположена колония, — отлогий и удобный для причала.

Мы сходим на берег с чувством мореплавателей, годы блуждавших по океану в поисках земли. Здесь берег жилой, ходят люди. Видны дома под красной черепичной крышей, каких мы не видали никогда ни в городе, ни в деревне; но для деревни, по нащим понятиям, это попросту дворцы. Накрывшись для вящей презентабельности форменной фуражкой без герба, — уж больно неказист был вид нашего костюма, а обличье после семидневной обработки солнцем, ветром и дождем, без пищи, выглядело, вероятно, еще страшнее, — я и Вася отправились тотчас же за провиантом.

Подходим к дому — видна только крыша. Дом за высоким новеньким забором, а новые гладкие ворота глухо заколочены. Прежде чем мы успели поднять руку, чтобы постучать, ворота растворились, рысью вылетел большой, сытый конь, за ним, на непомерно высоких колесах, новенькая бричка зеленая, вся в цветочках. На бричке толстый немец с красной рожей, с трубкой в зубах и белом schillerkragen на загорелой в складках шее. У раскрытых ворот мы увидали маленькую старуш-

ку с живыми, умными глазами и красными яблочками на гладеньких щеках. Я снял фуражку и, поздоровавшись, учтивейшим манером стал объяснять, что мы прибыли с экскурсией издалека, продукты у нас вышли, и что мы просим продать нам, что возможно из съестного. Оглядевши нас внимательно и подумавши немного, старушка кротким голосом сказала:

— Немножко мошна, пошалуйста.

Мы стоим у дома в ожидании, осматриваемся. Дом каменный, службы, — все здесь основательное, новое, как будто накануне лишь покрашенное. Двор чисто выметен.

— Да, — многозначительно произносит Вася, поворачивая голову во все стороны, — вот тебе и немец! Видно, он не только обезьяну выдумал.

Впервые мы видим немецкую колонию и поражаемся ее зажиточности, порядку, чистоте. Надолго останется у нас в памяти это впечатление и связанное с ним чувство горечи, обиды за русскую деревню...

Появляется старушка в сопровождении белясой, с болтающимися косичками, девочки. Руки их полны всякой снеди. Расплатившись, нагруженные, мы от радости не чувствуем под собою ног и летим к товарищам. С нами свежий ржаной хлеб, излучающий густой, сладкий аромат, сало и большое лукошко вкрутую сваренных яиц.

Подходим к берегу. У корабля народ. Первой нашей мыслью было: наконец-то началась настоящая торговля душегубками.

При нашем приближении народ оборачивается, расступается. У корабля мы видим двух полицейских, возбужденно потрясающих руками перед

Наумом и Опанасом Петровичем. У Наума вид — краше в гроб кладут. Опанас Петрович красный, смущенный, крутит ус; тут же Федя и Лева с встревоженными лицами подают нам знаки крайнего аларма, строя за спиной полицейских страшные гримасы. Поразительно, что, не условившись заранее, мы сразу понимаем этот код: "спасай продукты" — означает он.

Мы слышим, как полицейский кричит Науму:

— Какое ты имеешь полное право без бумаг податься на пороги?

У Наума от самого рождения при конфликтах, очевидно, тактика одна: молчать. И на сей раз он остается верен ей — он нем и глух.

Не добившись ответа от Наума, полицейский набрасывается на лоцмана:

— Штоп ты, Опанас, в такое дело встрел, никогда б я не поверил. Може вспомнил, что первый лоцман на порогах был, так это когда было! Теперь тебе на печи греться, а он на пороги полез, панычей катать задумал! И не стыдно тебе? И на якой бандуре? Веревками усе повязано... Люди добрые! Ну, побачишь, Опанас, задаст тебе капитан перцу!

— Може через них, — ехидно замечает второй полицейский, худой, высокий — типичная полицейская селедка: — как без очереди на порогах шли, плоты на "Вильном" и разбило.

— Мабуть так оно и було — стали кричать в толпе, — таких и утопить не жалко.

— Да не наче ты сказывся, — в негодовании всплескивает руками лоцман. — Мы "Вильный" сегодня утречком тилько и прошли, а плоты когда разбило?

— Ага, — увидя нас усмехается первый полицейский, — теперь кумпания вся, значит, в сборе. Всех в холодную запрем, а завтра отправим в Александровск. Нехай капитан там разбирается, кого куда.

В "холодной" нам ночевать еще не приходилось, но там не может же быть много хуже, чем в нашей собачьей конуре на корабле... Однако опыт моего еще столь недавнего сиденья в карцере гимназии не оставлял сомнения, что среди "бичей и скорпионов" карцера, или в данном случае "холодной", кормление заключенного как раз не фигурирует. Не отберут ли провиант? Вот в чем была для нас трагедия. — "Сначала досыта поесть, а там хоть на гильотину", — в унисон моим мыслям тихо говорит мне Вася.

Надо было действовать. Прижимая крепко хлеб к груди, я подошел к полицейскому, толстому дяде с закрученными колечками вверх усами, и учтиво "обратился":

— Перед тем, как вы нас в "холодную" запрете, можно нам поесть немножко? Уже три дня, как мы ничего не ели.

— Как так ничего не ели? — выпучил глаза от удивления полицейский.

— Та не три дня, — вмешался лоцман, — а так считать, што усю дорогу панычи, сказать прямо, голодали. Воны, бачишь, думали, що на порогах лавки есть, как у городе, и там усе купить можно.

Оба полицейских оскалили зубы, а в толпе стали громко смеяться.

— Школы як закрылись, где их обучали, потому лето, продолжал лоцман, обращаясь уже

запросто к толстому полицейскому: — воны, штоп погулять и напросились у Наума на пороги, а харчей не взяли. Нашей каши раз другой поилы, а бильше отказались: вам, кажут, буде мало. Сухой корочкой усю дорогу и кормились. И дома там не знают, куды воны подевались, — не то укоризненно, не то сочувственно качает лоцман головой, — сам губернатор, може, их там по всему городу шукае. А што, — спрашивает лоцман у полицейского, — у вас туточки не справлялись еще о панычах?

Полицейские переглянулись, в глазах у них испуг.

— Нет, пока не справлялись, — неуверенно отвечает толстый и, повернувшись решительно к толпе, кричит:

— Вам што тут надо? Чего собрались? Который раз говорю вам, расходись!

Некоторое время полицейские посматривают друг на друга, размышляют и толстый старший, приветливо нам улыбаясь, говорит:

— Хлеб да соль, панычи. Как вы здорово голодные, так сядайте, да покушайте, чего накупили, а мы тим часом с Опанасом да с лесником малость потолкуем.

Крыша будки на корме превращена в буфет. Пир идет горой. Пассажиры и экипаж — два молчаливых внука — жуют с усердием, не жалея челюстей. Федя и Лева в минуты передышки рассказывают, как в результате превратности судьбы, в мгновение ока, из свободных мореплавателей мы превратились в арестантов. Появление полицейских в первую минуту вызвало, по их словам, взрыв приветствий и восторженных объ-

ятий. Встреча Опанаса Петровича с полицейскими была просто трогательной, так дружественно и крепко они жали друг другу руки, хлопали по спине и обменивались приветствиями. Зато вид корабля их видимо смутил.

Когда на дружеский вопрос:

— Откуда Бог несет? — последовал ответ: "Из Екатеринослава" полицейские переглянулись и призадумались.

— Зачем приехали?

— Душегубки продавать.

— Кто хозяин?

Опанас Петрович указывает на Наума. Полицейский вежливо, на "вы", спрашивает у Наума разрешение на прохождение через пороги. Наум молчит и при этом, по присущей ему манере, смотрит прямо собеседнику в глаза взором невинного ягненка. Полицейские настаивают, волнуются и, наконец, начинают бесноваться: трясут руками, головой, хватаются за шашку, требуя ответа. Наум молчит. Опанас Петрович начал, было, объяснять, что они не хотели беспокоить власти, так как поездка эта вроде прогулки с панычами, а душегубки — это только на случай, если бы кому потребовалось. Но полицейские не стали его слушать и снова взялись за Наума. В этот момент мы и подошли.

Пир наш приближался уже к концу, когда Опанас Петрович с Наумом вернулись одни без полицейских. Лоцман щурил хитро глаз и обнадеживающе улыбался. Наум молчал, но краски к нему вернулись.

— Ну, панычи, — сообщил нам лоцман, — ночевать мы будем на нашем дубе, а не в холод-

ной. А чего мы в холодной не видали? Нам и на дубе хорошо.

К нему вернулось его обычное спокойствие и добрая располагающая усмешка.

— Одначе, — продолжал он, — завтра чуть свет треба Науму податься в Александровск к капитану. Дуб воны еще малость тут задержат, а потом и дуб отпустят. На душегубке спозаранку Науму выехать, ко времени в самый раз поспеет; да тильконому Науму там не справиться. И як, паничи, сами вы рассудите, так мы и сробим: або я внуков пошлю Науму пособить, або кто из вас, паничи, може с ним поиде. От внуков, конешно, пользы мало... — просительным тоном заключает он.

Наум как бы отсутствует и не говорит ни слова.

— Причем тут ваши внуки? — спешим мы уверить Опанаса Петровича: — мы, конечно, поедем с Наумом и будем очень рады, если сможем ему чем-нибудь помочь. А теперь садитесь да закусывайте, что Бог послал, пока мы всего не съели.

Ни Опанасу Петровичу, ни Науму переживания, очевидно, аппетита не прибавили. Они немного поели и мы все на своих належанных местах завалились спать.

XXIV.

С рассветом экипаж и пассажиры на ногах. Мне и Васе поручено сопровождать Наума — вопервых в качестве гребцов, а затем и — секундантов в "дуэли" с капитаном.

Повадки Наума в минуты жизни трудные нам уж хорошо знакомы и потому мы не сомневались, что Наум, заняв позицию у барьера, стрелять не будет, т. е., в данном случае не раскроет рта. Роль секундантов в таком поединке должна, конечно, быть необычной и решающей и нужно было прежде всего привести себя в приличный вид, в виду таких чрезвычайных обстоятельств.

В момент причала первой нашей мыслью, мыслью, которую, думая о Кичкасе, мы лелеяли давно, было конечно выкупаться. Но вчера нам было не до купанья. Зато теперь, от сна восставши, мы, как рыбы, сорвавшиеся с крючка, прямо с корабля бросились в холодные живые воды родного и здесь бездонного Днепра.

Немцам с их порядком, вероятно, никогда еще не приходилось слышать всплески, крики, гоготанье в такой ранний час. Даже солнышко, разбуженное шумом, с любопытством оглядывало нас своими еще затуманенными сном глазами. Выкупавшись, мы почистились, насколько лишь это было возможно и принялись серьезно за еду. Дело в том, что от Кичкаса до Александровска дорога не короткая — двенадцать верст, — и нужно было основательно грести, чтобы не опоздать на rendez-vous. Но главное, для нас не совсем ясен был не то чтобы исход дуэли, а скорее распределение ролей. Совершенно не исключена была возможность, мы это понимали хорошо, что одновременно с дуэлянтом и секунданты очутятся не там, где ожидали.

В виду такой перспективы, и связанной с ней угрозы нового поста, мы решили по крайней мере на сутки заговеться.

Закончив приготовления, мы расположились на спущенной на воду душегубке: Наум посередине на собственном сиденьи (скамеек на необшитых душегубках не бывает); мы, стоя, один на корме с веслом в руке, другой на носу, подобно гондольерам, прогуливающим важную персону или, вернее, чернокожим (от купанья мы белее не стали), везущим бледнолицего Наума на пытки и даже на заклание.

Хорошо сидеть на корабле, пусть плохо скроенном и не так уж прочно сшитом, на ветеране корабле, с боками в ранах от бурь и непогод, свершающим свой путь с девизом почти что по Экклесиасту: "К чему спешить? Тише едешь, дальше будешь".

Хорошо глядеть на сонный Днепр, которому, что ночь, что день, то все едино. Разбудит его ветер и он взволнуется; ударится о камни, придет в ярость. Стих ветер, преодолена преграда и снова, не спеша, он катит свои воды, которым нет конца, к последней пристани, чтобы исчезнуть, погрузившись в море.

Мир и покой излучают берега Днепра, то почти вровень с уровнем воды, то высокие, скалистые, крутые. Здесь время и вовсе остановилось: не так ли безлюдны и безмолвны они теперь, как были тысячу лет тому назад, когда здесь волоком тянули свои ладьи дружины Святослава или сто с лишним лет тому назад — свои струги казаки?

Семь дней такой нирванны созерцания, страхов, размышлений при посте и полном, конечно, физическом бездействии, могли бы насытить даже испытанного иога, а нам "философам в осьмнад-

цать лет" стаж этот не мог не показаться длинным до отчаяния.

Очутившись поэтому на душегубке, трепетно послушной малейшему движению весла, на душегубке с острым носом и поджарыми боками, где сами линии, как — увы! — и неустойчивость, говорят об устремлении, движении, жизни, мы, как на кровной лошади, забывши об Экклесиасте, под пожелания с корабля и наше собственное гиканье и хохот, стрелою понеслись к городу, к людям...

Солнце движется за нами, от бега разгораясь ярче; берега мелькают, убегая прочь и давая нам дорогу, расступаются все больше.

Мы, как угорелые, несемся по все более и более широкому и безмятежно крепко спящему Днепру. Движение нашей душегубки, погружение весла лишь на мгновение вызывает морщинку недовольства на его лице и тут же морщинка эта исчезает.

К Александровску мы подошли, когда город еще только просыпался. На берегу — рыбачьи лодки, сети сушатся на кольях, ходят рыбаки. Пустынно, малолюдно.

Мы вытащили на берег душегубку, посидели молча, отдыхая. Вид Наума никак к разговорам не располагал, да и у нас, признаться, как только угар от гонки испарился, кошки стали на душе скрести. Погуляли по берегу; он здесь песчаный, как на хорошем пляже, и пошли искать "дистанцию", как называют в Александровске речное управление.

Маленький невзрачный домик. Полицейский объяснил нам, что Начальник очень занят и мы должны наведаться попозже.

На наше несчастье дел у Начальника в это утро оказалось такое множество, что лишь после долгого, томительного ожидания мы удостоились, наконец, предстать пред его черные очи.

За столом, заваленным бумагами, в небольшой прокуренной комнате, куда мы вошли, сидел загорелый мужчина средних лет, в форменных, в сапоги заправленных, штанах, и белой, открытой на груди, вышитой сорочке. До сих пор я вижу его проницательные, немножко раскосые, черные глаза на покрытом оспинами "щербатом", как говорят на Украине, лице. Мы подошли к столу, держа фуражки на отлете. Наум посередине, мы, как полагается секундантам, по бокам, и громко поздоровались:

— Здравствуйте, господин капитан.

Наум молчал. Капитан поднял голову и, не отвечая, стал, не спеша, внимательно нас разглядывать. Начал он с меня. Оглядел с головы до ног — несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, не мигая. Затем он перевел свой взгляд на Васю. Закончив это свое обозрение и, не взглянув на Наума, он неожиданно спокойным голосом сказал:

— Здравствуйте. — Затем молча стал рассматривать Наума, глядевшего на капитана, по известной уже своей манере, не отрываясь и в данном случае, действительно, как кролик смотрит на раскрывающего пасть удава. Это взаимное рассматривание длилось, как нам показалось, бесконечно. Затем капитан снова медленно открыл рот, как будто это стоило ему известного труда, и коротко отрезал:

— Вы, молодые люди, выйдите да погуляйте.

Что нам оставалось делать? Бросить взгляд, полный сочувствия, в сторону Наума, которого он, конечно, не заметил, и ретироваться, подобно собаченкам, которых выбрасывают за дверь. У выхода мы, было, заговорили с полицейским, думая расспросить его о характере капитана, но полицейский, прислушивавшийся, очевидно, к тому, что творилось в комнате у капитана, сделал строгое лицо и молча указал рукой на дверь.

Несколько часов мы слонялись по берегу и прибрежным улицам, потеряв всякое представление о времени, а затем даже и надежду увидеть Наума. Мысли, одна другой мрачнее, жалили нам сердце: "неужели, — спрашивали мы друг друга, — Наум и под пытками не раскроет рта, не закричит"?

Наконец, в дверях показался силуэт Наума. Мы бросились к нему, но вид его был таков, что мы не решились не только задавать ему вопросы, но даже вообще говорить. Молча шли мы к берегу и лишь время от времени, то я, то Вася, чтобы нарушить гнетущее молчание и утешить как-нибудь Наума, говорили первое, что приходило в голову:

— Главное, что дело закончено и мы все на свободе. Могло быть много хуже.

Наум продолжал молчать. Обычную бледность его лица сменила густая краска и он был в поту, как если бы долго парился на полке в бане; налитые кровью глаза и покрасневшие веки красноречиво свидетельствовали о том, что дело не обошлось без слез. Мы подошли к берегу, уселись на душегубке и стали смотреть вдаль, откуда

должен был появиться наш корабль. Долго мы сидели так, исподтишка наблюдая за Наумом.

Постепенно стал возвращаться к нему его обычный вид и, когда нам показалось, что он достаточно уже "отошел", я спросил его:

— А что здорово, наверно, капитан ругался?

Наум долго молчал, как бы снова переживая недавние страдания, затем тихо произнес:

— Я к мелким обидам привык.

На этом закончилась эпопея неравного состязания между молчаливым Наумом и малоречивым капитаном, как и попытка Наума зайцем "проскочить", как выразился Опанас Петрович, через днепровские пороги.

XXV.

Переживания — переживаниями, но и желудок тоже имеет свои права. А права, как известно, обретаются в борьбе. Желудок наш все с большей настойчивостью стал требовать положенного ему природой. Повидимому воспоминание о сале, которое мы все утром ели, украинском сале — молочно-белом с розовыми прожилками, нежном, душистом — да еще со свежим ржаным хлебом, сразу сделало его революционером.

— Нет ли здесь булочной поблизости, я бы сбегал купить хлеба, — предложил Вася, — уж больно голодно.

Но тут, как нельзя быть более некстати, меня осенила мысль. Ах, уж эти откровения!

— А ведь не может быть, — стал я убеждать Наума и Васю, — чтобы наш корабль не проделал до сего момента пути до Александровска. По-

глядите на солнце — оно, ведь, собирается уже перебираться к антиподам.

— Неизвестно, когда их отпустили, — возражает Вася, — да и идут они черепашьим шагом.

— А может и в самом деле они прошли, — забеспокоился Наум.

— Несомненно они прошли, — решительно заявил я, — и они не могут быть далеко. Мы быстро их нагоним, если двинемся сейчас же.

Наша быстрокрылая ладья опять в движении. Мы выжимаем из себя абсолютный максимум того, что может только дать, с восхода солнца и почти до вечера некормленное, тело. А вокруг все те же берега, все та же ширь и никаких признаков ни кораблей, ни лодок, ни людей.

Подул, вдруг, ветерок и не попутный, заволновался Днепр. Грести стало труднее, а впереди, кругом все та же глушь. Как долго длилась эта погоня за призраком, сказать трудно, но пришел момент, когда мы не в силах более грести — положили весла, легли на дно душегубки и подумали, обращаясь мысленно к Днепру: "неси нас, куда тебе заблагорассудится, нам все равно, хочешь в Черное, хочешь в какое либо, другого цвета, море".

Но старый Днепр только, видно, усмехнулся, услышав про моря. Он и сам не больно-то торопится дотечь до моря. Незаметно он стал подталкивать наше суденышко по направлению к берегу и, когда толчок заставил нас поднять головы, мы увидели, что пристали к чудному, песчаному, под заходящим солнцем золотого цвета, пляжу. Мы вышли на берег, вытащили лодку, осмотрелись — вокруг — никого и, как сраженные, повалились на песок.

Одни на чужбине, без друзей, без провианта...

Где ты, светлокудрая богиня Калипсо, почему не вышла к нам навстречу? О, Нимфы, где вы? Куда вы удалились? Неужели вы не прощаете нам нашей критики мертвых языков, которыми нас восемь лет кормила гимназия? Подумайте, день ото дня одно и то же блюдо, да еще и "мертвое"!

Вася, как бы читая мои мысли, успел только с горечью пробормотать:

— Многохитростный Уллис был счатливее нас, — как все мы заснули мертвым сном.

Всем известен бог сна, но кому из небожителей поручено будить людей, с уверенностью я не могу сказать (кажется Гермесу). А, между тем, в самый разгар сна я услышал беззвучный, как дыхание, голос, повторявший без устали: "проснись, корабль приближается". Поняв, наконец, предостережение, я вскочил, открыл с трудом глаза и — прошу мне верить — это хоть и маленький, но все же интересный факт для любителей оккультных происшествий, — увидел прямо перед собой на зеркальной глади точное изображение нашего корабля с парусом и душегубками.

"Фата Моргана", — подумал я и разбудил крепко спавших товарищей.

— Корабль! — закричали в один голос Наум и Вася, и бросились к душегубке.

Я должен был сделать усилие, чтобы понять, что это, действительно, корабль, а не наваждение: в моих ушах звучало еще последнее предупреждение: "проснись".

Завидя нас, население корабля пришло в сильное волнение. Встретили нас, как встречают соратников-друзей, которых горько оплакивали

уже, потеряв всякую надежду, когда либо их увидеть.

Причиной наших сегодняшних страданий, оказалось, были приятели Опанаса Петровича, не выпускавшие корабля из Кичкаса до получения приказа от капитана, который пришел, конечно, с опозданием. Приблизившись к Александровску, наши на корабле проглядели все глаза, отыскивая нас; когда же они не нашли ни нас, ни нашей душегубки на берегу — факт нашего ареста не подлежал больше для них сомнению. При этих условиях, — решил лоцман, — другого ничего не остается, как спасать, что еще можно и, прежде всего, убраться с душегубками подальше от греха.

Но беда, как известно, не приходит никогда одна. После нашего купанья Лева почувствовал себя вдруг плохо, сообщил нам с истинно отеческим сокрушением лоцман, и сейчас в горячке лежит в будке.

В будке мы нашли Леву, лежащим на голых досках под лоцманской свиткой, в бреду, дискутирующим, повидимому, судя по возгласам, с каким-то самураем. Нашего голоса он так и не услышал. Болезнь Левы осложняла наше положение. Уплетая хлеб с салом, мы советовались с лоцманом, что предпринять. Дело было не так просто. На берег мы могли, оказывается, сойти теперь лишь в Никополе, а в те незабвенные времена это был не город, а местечко без железной дороги. Чтобы попасть на поезд, идущий в Екатеринослав, нам нужно было сначала пароходом вернуться в Александровск. К счастью пароход, по словам лоцмана, уходил из Никополя поздно вечером и мы могли еще вовремя поспеть к его отходу.

К сожалению затруднения наши не ограничивались только вопросом времени; еще более важным представлялся нам вопрос финансовый. Поездка на пароходе совершенно непредвиденно делала дефицитным наш бюджет. Выражаясь проще: у нас в этом случае не хватало денег на билет в Екатеринослав. О займах, конечно, не могло быть и речи. Мы, было, закручинились, но грусть нашу, как обычно, развеял Федя. С присущей ему логикой он стал убеждать нас, что подобно тому, как в алгебре минус на минус дает плюс, что на первый взгляд представляется невероятным, и в жизни две большие неприятности, как бы исключают одна другую и, в результате, приводят к благополучному концу. Конкретно, объяснял он, мы еще не знаем, сможет ли Лева двигаться, не знаем, попадем ли на пароход, а мы уже скорбим о том, как доберемся до Екатеринослава. Когда интересующие нас факты из воображаемых перейдут в реальность, — утверждал он, — начнет действовать вышеуказанный математический закон и все уладится.

Первые признаки действия этого благодетельного закона, о котором, должно было сознаться, мы не имели до сего времени никакого представления, стали давать о себе знать уже к вечеру того же дня. Прежде всего Лева пришел в себя и ему стало лучше. Он вылез из будки, чтобы подкрепиться на дорогу и по нашему настоянию съел даже последнее, остававшееся у нас, яйцо с хлебом. Затем к Никополю мы подошли вовремя — парохода еще не было. Настал момент сказать "прости" лоцману, спутникам и кораблю.

XXVI.

Провожать нас на берег вышло все население корабля.

Проводы не могли быть длинными: Лева едва держался на ногах, да и пароход мог придти с минуты на минуту. Опанас Петрович обнимал каждого из нас и все повторял:

— Ну и полюбились вы мне, паничи. Во век вас не забуду. Дай вам, Боже, здоровья да удачи, да штоб мамка не дуже больно била за то, што без спросу на пороги подалися.

Мы тепло благодарили лоцмана и просили не забыть свое обещание навестить нас.

— Я слово свое держу, — уверял нас лоцман, — як в город попаду, наведаюсь, беспременно наведаюсь.

Наум, с едва заметной улыбкой на плотно стиснутых губах, горячо и, нужно было думать, признательно жал нам руки и в глазах у него стояли слезы. Мы, было, уже двинулись к пристани, как Наум, вдруг, вскрикнул, бросился к кораблю и через минуту соскочил на берег со свертком в руках. Большой "Смит и Вессон" торчал из обрывков бумаги, в которую он был завернут.

— Револьвер, да что же мы с ним будем делать? — могли мы только вымолвить, растерянно глядя друг на друга. Револьвер, да еще заряженный, который не умещается в кармане и спрятать его невозможно и это при нашем арестантском виде! Мы стали просить Наума сохранить револьвер у себя до возвращения, но тут Наум разжал губы и явственно произнес:

— Нет.

— Послухайте, панычи, — вмешался лоцман, явно смущенный и обеспокоенный, — перво-наперво вынимайте пули, да бросайте в воду. С заряженным ливорвером не оберешься лыха. А если што случится, да спросят, кажите — нашли на дороге.

С этим напутствием, тепло простившись с внуками-гребцами и пожелав им стать, подобно деду, великими лоцманами, мы бросили последний долгий взгляд на корабль, наш милый корабль-чемпион, совершавший, как мы знали, свой последний рейс. Провожаемые пожеланиями оставшихся, мы двинулись живописной группой. Впереди шел Федя с оттопыренным карманом штанов, который он пытался все время прикрывать рукой и оттянутым краем куртки. За ним плелся еле-еле Лева — живая каланча, но не ремонтированная уже лет сто, которую поддерживали, чтобы она не свалилась, я и Вася — оба без курток, в одних рубашках: куртки наши пришлось напялить на Леву, дрожавшего от холода так, что слышно было, как стучали его зубы. Могу без хвастовства сказать, что появление наше у пристани произвело даже небольшой фурор, хотя там публика, судя по ее виду, видала виды. Мальчишки, вертевшиеся около нас, кричали "приехал цирк". К счастью, пароход не заставил себя долго ждать. Мы взяли билеты и полезли на палубу, где и разместились по привычке и по необходимости на голом полу, тесно прижавшись друг к другу.

Пароход тронулся. Подул свежий ветерок и, чем дальше к ночи, тем прохладнее становился он. Леву трясло, да и мы, в одних рубашках, щелкали зубами. Неподалеку от нас на полу си-

дела пожилая женщина, по виду крестьянка, и дремала, завернувшись в большой платок. Она, вдруг, поднялась, сняла с плеч платок и, не говоря ни слова, накрыла им всю компанию. Мы не успели даже окончить фразу благодарности, как, усталые до крайности, в тот же миг уснули.

Ранним утром разбудил нас шум: пароход подходил к Александровску, конечному пункту своего рейса. Мы встали, отдали крестьянке ее шаль и стали ее благодарить.

— Паныч-то дуже хворый, — сказала она, смотря на Леву.

— Он по дороге заболел, — объяснили мы нашей благодетельнице, — и мы везем его домой.

Крестьянка подняла одну из многочисленных надетых на ней юбок, залезла рукой в какой-то невидимый карман, вытащила оттуда медный пятак и протянула нам, говоря:

— У вас, мабуть, грошей мало, купите хворому бубликов.

Нам стоило немалого труда убедить сердобольную крестьянку, что у нас деньги есть и что мы обязательно купим ему бубликов.

До вокзала в Александровске мы добрались без приключений. Лева чувствовал себя значительно лучше. Жара у него не было, но его мучила жажда, а, может быть, как он говорил, и голод.

На вокзалѣ Федя произнес небольшую, но очень убедительную речь.

— Как вы сами видите, — заявил он, — все идет по уже упомянутому мною закону. Фактически, конечно, денег на билет у нас нет, но мы не должны вдаваться в меркантильные рассчеты.

Прежде всего мы должны сейчас напиться чаю и хорошо позавтракать. Об остальном, вы увидите, позаботится закон.

Возражений не последовало. Мы сели в буфете за стол и заказали чаю и яичницу на четырех. Однако, Лева от одного запаха яичницы пересел за дальний стол. Он все же выпил чай и вместо бубликов, которых в буфете не оказалось, съел с аппетитом два пирожка. Мы расплатились и вышли.

Не было сомнений, все шло согласно предсказанию Феди, но приближался роковой момент, высшее испытание Фединого закона: как мы все-же попадем на поезд? Меня, вдруг, как это уже не раз со мною приключалось, осенило, но оказалось неудачно. Я предложил пойти к начальнику станции, рассказать все откровенно и просить разрешить нам бесплатно проехать до Екатеринослава. Федя категорически отверг это предложение.

Во-первых, потому что железные дороги не благотворительное учреждение и такая просьба бесполезна, во-вторых вид наш не внушает доверия, а главное из-за револьвера. Проклятый револьвер был нашим главным погубителем. Куда мы его ни клали, он выпирал таким нахальным образом, что должен был бросаться всякому в глаза.

Нарушил наши размышления грохот и лязг длинного товарного состава, порожняком прибывшего на станцию. С площадки соскочил средних лет усатый проводник в длиннополом сюртуке и направился к вокзалу. Когда он поравнялся с нами, Федя, сунув мне предварительно револьвер,

который я тут же погрузил в карман, остановил его.

— Не можете ли вы нам помочь, — сказал он, — в нашей большой беде? Мы совершили поездку на пороги и теперь везем домой тяжело заболевшего товарища. Пришлось нам потратиться на лекарства и прочее, — приврал он, — и теперь у нас не хватает денег на билет. Не можете ли вы взять нас с собой в поезд, а мы вам отдадим все деньги, которые у нас остались.

— А чего вы не видали на порогах, почему на пороги подалися? — спросил, разглядывая нас с недоверием проводник.

— Мы хотели повидать пороги и погулять.

— На пороги погулять? — удивился проводник, — видано такое дело? Вы што ж, сироты?

— Почему сироты, — обиделись мы, — у нас есть родители.

— Так куда ж ваши родители глядят? — закричал он. — Пороть таких надо! На порогах гулять вздумали. Сколько на свете живу, такого не слыхал, — и он сделал было движение, чтобы уйти.

В этот момент у бедного Левы подогнулись колени и он свалился прямо на проводника.

— Да куда ж вам надо? — спросил уже другим тоном, видимо смутившийся, проводник.

— В Екатеринослав.

Он минутку подумал, внимательно оглядел нас и сказал:

— Ступайте за мной.

Мы подошли к последнему вагону, он открыл его и недовольно бросил: “залезайте, да поскорее”.

Последним взобрался в вагон Федя, вручивши предварительно проводнику весь оставшийся у нас капитал. Проводник, было, отказывался, но Федя настаивал, и он взял. Загремел засов, и мы очутились в кромешной темноте.

Счастливые и довольные разместились мы рядышком у стенки. Радость нашу омрачало только состояние Левы: он временами на минутку забывался и при этом жалобно стонал.

— Подумай только, — говорили мы ему, — ведь сейчас мы проходим последний этап нашего путешествия. Дорога тут гладкая, — смеялись мы, — еще несколько часов и мы дома; в нашем распоряжении целый вагон, это, ведь, почище, чем ехать в первом классе.

А Федя, чтобы отвлечь Леву от мрачных мыслей, стал, было, объяснять ему значение открытого им закона. Для обычной жизни мой закон, это, как компас... Но тут раздался уши раздирающий рев, лзяг, и получился толчок такой силы, что мы все покатились, кто куда. Не успели мы сообразить, где очутились, как в ту же минуту от нового толчка мы полетели в противоположную сторону и, сейчас же вслед за этим, нас снова разметало, кого куда.

Таково было начало последнего этапа нашего путешествия. С трудом в темноте нашли мы снова нашу стенку. Едва мы уселись, держась крепко друг за друга, как новый толчок разметал нас, как маленьких котят. И такие полеты в пространство повторялись не только при стартах и остановках, но и при всяком ускорении и замедлении движения: пол и стены вагона были гладки и ух-

ватиться было не за что. Мы молчали, стиснув зубы, а Лева стонал и иногда, забываясь, говорил:

— Гладкая дорога, действительно, гладкая дорога; уж лучше было на порогах, — и прибавлял, — по Фединому компасу идем, ну и компас!

Всему, однако, бывает конец. О времени, естественно, мы потеряли всякое представление и были немало удивлены, когда после страшного последнего толчка, мы услышали уже знакомый нам грохот железного засова и дверь вагона медленно раскрылась. Наш усатый проводник стоял у двери, улыбаясь:

— Если живы, так вылезайте.

— Еще живы. Ну и поезд. У вас трясет, куда страшнее, чем на порогах.

— Вагону, чтоб не трясло, вес нужен, — рассудительно заметил проводник, — а вы, што — четыре некормленных шкелета. Этим вагона не удержишь.

XXVII.

Ослепленные дневным светом и оглушенные движением и шумом, стояли мы на путях, не в состоянии сообразить сначала, где мы и куда идти.

С трудом придя в себя, направились мы к дому, поддерживая Леву, едва державшегося на ногах, и выбирая улицы помалолюднее уже затем, чтобы не пугать людей. Вот, наконец, и наша улица...

Уже издали заметили мы у дома, где проживала Левина и Васина семья — родительский совет. У калитки, оживленно жестикулируя, бесе-

довали с Яков Иванычем отец и мачеха Левы, сестра и деверь Васи, у которых он жил.

Вася посмотрел на меня многозначительно и тоном соболезнования сказал: "похоже, что de te fabula narratur".

К сожалению и у меня не было сомнений в том, что так или иначе, но речь шла обо мне. И могло ли быть иначе, когда не только вся наша улица, но и босяки нашей планеты знали, что я кончил гимназию со званием "подстрекатель". За "виноватым", значит, ходить было недалеко.

Нас заметили лишь в последнюю минуту. Отец Левы с бранью было бросился к сыну, а мачеха открыла свой большой ротик; — полвека прошло с тех пор, но до сих пор звучит еще в моих ушах страшный по тембру, как и по диапазону, голос этой женщины. Вид Левы вызвал крик ужаса у отца, а у мачехи от шока ротик защелкнулся почти беззвучно. Сестра и деверь нежно обнимали Васю, любовно выговаривая, что причинил им столько беспокойства. Я и Федя, стоя в стороне, все более возмущаясь, глядели на Якова Иваныча: он делал вид, что нас не замечает.

Не удостоивши нас и взглядом, родные увели Леву; кивнувши нам, скрылся за калиткой Вася. Медленным шагом подошел к нам Яков Иваныч и без слова приветствия, резким, глухим голосом спросил:

— Где Наум?

Оскорбленный до глубины души такой встречей, я поднял руку и отчетливо на пальцах отпечатал в воздухе: "у-т-о-н-у-л".

Большего удовольствия я, оказывается, не мог ему доставить. Лицо его расплылось в блаженную улыбку.

— Я так и знал. Это очень хорошо, — и, затем с особенным ехидством, оскалив зубы, он прибавил: — чего же вы ждете? Домой идите, там уже полностью получите, что заслужили, — и удалился, захлопнув с шумом за собой калитку.

Мы постояли еще немного, разглядывая закрытую, столь хорошо нам знакомую калитку, а сейчас выглядевшую совсем чужой, и медленно направились домой.

Мы жили неподалеку в разных домах, но на одном дворе.

Федя с горечью заметил:

— Мы не герои, конечно, смешно сказать, но мы все же пионеры борьбы с косностью, с рутиной и вот какой прием ждет у нас таких людей.

— Послушай, Федя, — прервал я друга, — сейчас надо подумать о том, как представить нашу поездку твоей матушке, чтобы не пришлось сидеть тебе неделю взаперти, без ботинок и штанов, как это уже однажды было. О себе я не беспокоюсь. У меня другая обстановка. Домашние мои так освоились с мыслью, что я живу жизнью моряка и так рады, когда я возвращаюсь из плавания живой, что о попреках никто не помышляет.

Родители, правда, иногда проявляют странности, которые нам, детям, не совсем понятны. Мои родители ужасно встревожились, например, когда узнали, что я нес книги гимназистки, которую однажды встретил по дороге из гимназии домой. И единственная затрещина, правда больше символическая, которую я получил от матери с серьезным предупреждением на случай рецидива, была именно за этот акт "ухаживания". Рискованные

же мои поездки в бурю под парусом, их оставляют как будто равнодушными. И на сей раз, я уверен, со мной все обойдется, как обычно.

— Твоя же матушка наслышалась, конечно, всяких страхов и тебе придется серьезным образом ответ держать. Ты должен первым делом убедить ее, что наша поездка была предпринята исключительно с научной целью и что мы собрали ценный географический и особенно фольклорный материал. Насчет худобы твоей объясни, что на порогах от частых толчков и непрерывной тряски все худеют, поэтому лоцмана, например, все как скелеты, но зато все страшно сильные. Наконец, передай ей рассказ лоцмана о дочери Потоцкого с собачьим пыском или о происхождении порогов. Главное, это отвлечь ее в первую минуту от мрачных мыслей. О револьвере не беспокойся. Под нашим крыльцом у меня имеется укромное местечко, куда в хорошую погоду я прячу книжки, на которых не имеется отметки "дозволено цензурой". Туда я суну твой револьвер.

— Попытаюсь, — неуверенно заметила Федя и глубоко вздохнул.

У калитки мы обменялись долгим прощальным взглядом и быстрым шагом направились к себе.

Вечерело. Во дворе не было ни души. Привычным жестом я сунул под крыльцо револьвер и поднялся в дом.

Картина встречи была все же несколько иной, чем я предполагал. Я ждал шумных вопросов, восклицаний, но, хотя вся семья наша оказалась в сборе, несколько секунд, как мне показалось, царила тишина. Все глядели на меня, как если бы

не верили, что это я. Опомнились они, однако, быстро и стали все кричать наперебой:

— Что с тобой? Откуда ты? Лица на тебе нет! — и прочее и подобное. Меня, к счастью, тут же осенило и я сразу заявил, что мы проделали на порогах трудную процедуру закаления здоровья.

"Резкое похуденье при этом не только правило, но и обязательный залог успеха. Через неделю-другую все придет в свой прежний вид", — и тут же пронеслось в моем мозгу: "это объяснение кажется солиднее, чем то, которое я рекомендовал Феде. Как жаль, что меня не осенило раньше".

В подробности, как я и предполагал, мои домашние не вдавались. Вид мой, правда, был таков, что требовал не слов, а действий. Купанья, кормления и больше всего постели. От купанья я разомлел, от кормления и вовсе обалдел. Что поделаешь, отвык! И все же совсем сонный, подойдя к кровати, странно пахнувшей, и нельзя сказать, чтоб плохо, прохладной свежестью белья, я остро вспомнил, очевидно по контрасту, милую собачью будку на нашем герое-корабле. Уж очень обидной показалась мне кричащая претенциозность уверенной в себе кровати! "В нашей будке нам спалось не хуже, чем правоверным в Магометовом раю", — захотелось мне крикнуть, но я уснул прежде, чем успел выразить эту мысль словами.

XXVIII.

Двенадцать часов сна полностью восстановили мои силы и первой мыслью моей было еще до того, покуда я открыл глаза: "Что с Федей?" Из

нашего окна я мог видеть Федино окно. Увы! Оно было наглухо закрыто. Плохой признак.

Наскоро позавтракавши и, улучив момент, когда двор был пуст, я подошел к окну. Со сосредоточенным лицом, босой и без штанов, Федя сидел на кровати и читал книгу, которая была мне, по обложке, хорошо знакома: "Философия Шопенгауера".

Я тихо стукнул. Федя поднял грустные глаза, улыбнулся жалко и на вопросительный мой взгляд на пальцах отпечатал: "От шока мама заболела. Пока я под арестом. Яков Иваныч часто приходил и беспокоил маму: он шпион".

На этом слове Федя замахал руками, сигнализируя: "смывайся".

С тяжелым сердцем я отправился на берег, с возмущением повторяя: "Да, нет сомнения, он шпион".

И здесь дорога была для меня не безопасна. Нужно было незаметно пройти мимо дома, где проживали родные Левы. Страшно было подумать встретить отца Левы, а еще страшнее мачеху его. Миновал я благополучно этот фронт и вышел на территорию нашей "планеты".

Какая ширь открылась глазам! И все на своем обычном месте и все такое знакомое, родное... Гладь бесконечная Днепра; сверкающий огромный солнца диск на прозрачно-синем небосклоне; теряющиеся вдалеке штабели правильно уложенных бревен. И острый, захватывающий дух, запах смолы, воды и дерева...

А вот и орел нашей планеты — первый, кто мне попался на пути — Алексей-воряга. Он прищурил свои рысьи глазки, улыбкой приподнял

верхнюю губу, отчего его растущие вкривь и вкось, как будто приклеенные, редкие усы, защитно ощетинились, поднял высоко руку, как делают лесники, заключивши сделку, ударил по моей, так же высоко поднятой руке, и тепло спросил:

— Не видать было тебя. Где пропадал? Больной был?

"Есть же еще порядочные люди с благородным сердцем", — подумал я и бегом направился к Ундине, на которой одиноко, опустивши низко голову, сидел Вася.

Быстро оглядев друг друга и поздоровавшись, мы стали обмениваться информацией. Лева болен: доктор не знает — инфлуэнца ли это или малярия. У него высокая температура. Мне во двор Левы лучше не показываться. Меня считают зачинщиком поездки и, значит, причиной всех бед. Яков Иваныч стал было расспрашивать Васю о порогах, но Вася отказался отвечать. Я, в свою очередь, сообщил об "аресте Феди", о роли Якова Иваныча и о мнении Феди, что Яков Иваныч — шпион. Вася с этим тотчас же согласился.

Долго мы сидели так на легко и мерно покачивающейся Ундине, глядя на прибой и грустя по отсутствующим товарищам, по нашему, годами испытанному, распорядку дня.

Не было желания ни в плавание одним пускаться, ни начинать наш привычный, прерванный поездкой на пороги, круг чтения. Оставалось лишь надеяться и ждать.

И, действительно, скоро мать Феди сменила гнев на милость: вернула ему ботинки и штаны, и пополнились ряды нашего содружества. Вернулся Федя. Револьвер, залежавшийся в тайнике под

лестницей, вовремя положен был на свое место. А там и Лева, еще немного более похудевший и как будто еще подросший, появился на нашем, все еще полностью не прояснившемся, горизонте. Недоставало нам еще нашего ментора и друга, Якова Иваныча, так неожиданно, как мы считали, нам изменившего.

Объяснение с ним произошло как-то ненароком. Мы стояли у нашей пристани, готовясь к плаванию. Неожиданно, с видом, как будто ничего не произошло, подошел Яков Иваныч и спросил, куда мы направляемся.

В ответ Федя энергично отпечатал в воздухе: "Со шпионами мы не разговариваем".

Яков Иваныч как будто сразу не разобрал печати и Федя должен был эту фразу повторить с еще большей энергией.

Реакция Якова Иваныча на столь тяжелую квалификацию его поведения оказалась совершенно неожиданной. С деланным или настоящим изумлением оглядевши нас, он стал, как сумасшедший, хохотать и так как за все десять лет знакомства мы его не только хохочущим, но даже и смеющимся не видали никогда, то, при всех наших усилиях сохранить оскорбленное достоинство, и мы сами не могли удержаться от смеха.

А Яков Иваныч все смеялся, вытирая слезы. Затем, не вдаваясь ни в какие объяснения, полез в лодку и... мы отчалили.

А дальше все пошло по давно уже выработанной, годами испытанной, программе.

XXIX.

Прошло несколько недель. Эту ночь, канун памятного дня, которым я хочу закончить мое

затянувшееся повествование, я провел в своей постели.

Жизнь в доме у нас летом начиналась чуть ли не с рассветом. Купались ранним утром в теплых водах еще сонного Днепра и вслед за этим завтракали во дворе под серебристым тополем, гордо возвышавшемся у самого нашего порога.

Стоит ли вспоминать королевскую селедку, вымоченную в молоке, ребрышко украинское, ветчину, а свежий ржаной хлеб, бублики с майским маслом? Не хлебом единым жив будет человек.

Конечно не стоит! Но чай, наш янтарный, ароматный русский чай из самовара, забыть его просто невозможно. Нигде и никогда он не имел больше для меня ни вкуса русского, ни цвета!

И это воспоминание тем более объективно, что не часто видел меня тополь за завтраком под своей листвой. Наш походный чай с дымком, картошка на подсолнечном масле и шашлык из мартынов, переложенных кусочками куликов, был для нас не обычной едой, а как бы ритуальной трапезой и потому никакому сравнению и критике не подлежащей.

Этим утром я проснулся поздно. Дом был пуст и я, умывшись, направился к выходу во двор. У порога я остановился. Я увидел стол накрытый, как обычно и семью в полном сборе. По правую руку от матери, разливавшей чай, сидел Опанас Петрович и, не спеша, откусывая кусочки сахара, тянул из блюдца чай. Лоцман сидел в свеже вымытой рубашке из бязи, открытой на груди, таких же штанах и в туфлях на босу ногу.

Его живые светлые глаза на добром морщинистом лице искрились возбужденно, дышали

умом и хитрецой. Вся его оригинальная фигура старого орла, достоинство, с которым он держался, вызывали невольный интерес и уверенность в значительности этого полуграмотного самородка. Не было сомнения, что Опанас Петрович и эту необычную для него аудиторию, видимо, сумел приворожить. Об этом в достаточной степени свидетельствовали улыбки восхищения, написанные на лицах всех слушателей без исключения.

Он увидел меня, когда я подошел к столу. Аккуратно положив на стол блюдце, он обнял меня и, разглядывая, говорил:

— Здорово заспався паныч, а я вже и уходить собрався. Якый же вин круглый став на мамкиных харчах. Тай быстро, як на опаре. А паныч Лева, што хворый був, здоров? А остальные панычи?" — стал он расспрашивать и, обращаясь к матери: — на пороги воны подалися ну прямо сказать без харчей...

В этот момент я сделал ему предостерегающий знак глазами. Он его понял и продолжал:

— Взять то взяли, да не хватило. Ну, ничего, панычи справились, хочь малость и поголодали. В Кичкасе зато всего накупили, тай здорово наились.

— А что, паныч, — с тревогой в голосе спросил он меня, — книжечку, што обещали, чи припасли?

— Это что же, для этой книжки вы, может, и в город то собрались? — удивился отец, как-то подозрительно на меня взглянув.

— Дуже охота, — со смущением отвечал лоцман, — писателя Горького почитать. Грамотей-то я не великий, а до книжечек охочь. Купишь книж-

ку на базаре, а там одна брехня и што к чему и што за люди неизвестно. А как на порогах были, паныч про Горького и рассказав. С того дня нейдет та думка с головы.

— Книжка вас давно уже дожидается, — успокоил я Опанаса Петровича, — сейчас я ее вам принесу.

Цепкими своими пальцами он взял книжку с осторожностью, как если б это была хрупкая реликвия, и, разсмотрев ее со всех сторон, положил под руку и крепко прижал к груди.

— Спасибо, паныч, дай вам Бог счастья, тай удачи, а я вас не забуду. Ну, пора мне собираться, — заторопился лоцман, — не ровен час, уиде мой земляк.

Распрощавшись со всеми, со счастливым лицом направился он к выходу.

Отец и я проводили его до калитки.

— Пуститься в путь в этом возрасте за книжкой! — не мог успокоиться отец.

— Да, — заметил я, — дураков всяких обучают, а вот такие люди не имеют ни возможности, ни даже права на образование. Времена!

XXX.

Прошло полвека с момента нашего путешествия по Днепру через пороги. Полвека всегда для человека—"дистанция огромного размера". Но эти полвека, так огромны, как, пожалуй, никакие другие во всей известной нам истории людей. Оглянешься назад и сердце защемит печалью.

Где вы, товарищи, друзья, спутники бессменные в походах на воде, на суше? Где вы, Вася,

Федя, Лева, соратники в мечтах о молочных реках и берегах кисельных, не на небесах, а на земле, для всех! Иных уж нет, а те далече...

Оглянешься, присмотришься и скажешь:

"Какие пройдены этапы, какие горизонты впереди! А сколько изжито иллюзий!"

Иллюзий все же жалко.

Мытьем, оказывается, из Алешки Заикалы, во всяком случае одним мытьем, оратора не сделаешь.

Пилюлями одними человека не только насытить, но и прокормить нельзя. Придется еще, значит, некоторое время рыбам и прочей живности идти на жертвы, чтобы дать человеку возможность задачу эту разрешить.

Но, вот, этапы! А этапы? Глазам не веришь!

Население нашей планеты на берегу Днепра? Среди Платонов и быстрых разумом Невтонов, которых еще и еще, никогда не истощаясь, "российская земля" родит, не последнее место, возможно, занимают дети героев нашего столь безнадежно, казалось, "темного царства".

Тысячи лет разбоем промышляли "Дид", "Внук" и прочие порожистые боги. А теперь... В спецодежде, на положении мастеров и инженеров, пускают они в ход станки на отдаленных фабриках, заводах; освещают людям ночью путь, жилища; помогают судам проходить трудные места...

Жаль не видел всего этого Опанас Петрович. Рано он родился.

А мы с вами?

Impr. de Navarre. 11, rue des Cordelières, Paris